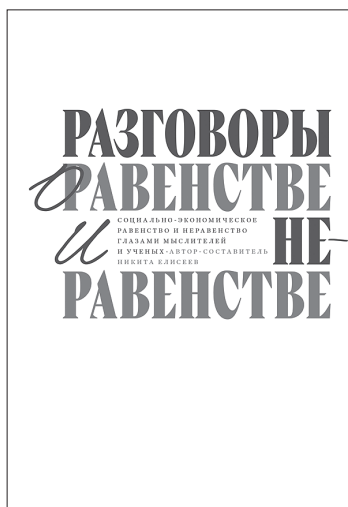


Рецензии

Разговоры о равенстве и неравенстве. Социально-экономическое равенство и неравенство глазами мыслителей и ученых

Автор-составитель НИКИТА ЕЛИСЕЕВ

СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2025. – 288 с. – 1000 экз.



«Разговоры о равенстве и неравенстве» – это беседы, которые российский писатель, публицист, критик, переводчик Никита Елисеев ведет с учеными-гуманитариями, среди которых историки и социологи, а также экономист, религиовед, священник. Предыдущим проектом Елисеева, обратившим на себя мое внимание, стал образцово выполненный и откомментированный перевод с немецкого двух книг Себастьяна Хафнера – «История одного немца» и «Некто Гитлер. Политика преступления», – вышедших в питерском «Издательстве Ивана Лимбаха». Теперь Елисеев заинтересовался тем, как равенство и неравенство понимали раньше и как их понимают сейчас.

Проблема не кажется абстрактной, поскольку даже в бытовых разговорах люди постоянно сравнивают себя с кем-то: с соседями, мигрантами, людьми других национальностей, жителями разных регионов и стран, представителями других профессий, чиновниками и «олигархами», наконец. Основания для сравнения могут быть разные: один уверен, что ему недоплачивают, другой претендует на более высокий общественный статус, третий хочет уважения своих прав и более вежливого к себе отношения. Достоевский в «Записках из мертвого дома» упоминает, в частности, какие разные наказания получали люди за сходные преступления. Таким образом, проблема равенства–неравенства смыкается – в легальном и этическом поле – с темой равноправия и справедливости.

Измерение разнообразных видов неравенства (а измерить можно только его) позволяет ученым держать руку на пульсе планеты. Международные организации и аналитические группы составляют и используют разнообразные межстрановые отчеты для оценки текущего состояния мировой экономики, экологии Земли, уровня демократии и прочего. Исследователей привлекают не средние уровни, а отклонения от них и различия между странами – например, по объему ВВП на душу населения, выбросам углекислого газа, уровню преступности. Они интересуются также индексами счастья, свободы, коррупции и многого другого. В современной России межрегиональные рейтинги любят использовать чиновники, если их регион удачно выделяется на фоне соседей, но те же рейтинги могут подсказать, кому из губернаторов пора проситься в почетную отставку.

Автор-составитель начинает книгу с главы «Разговоры с текстами», то есть с обзора авторов, которые высказывались по теме равенства–неравенства. В первую очередь это Жан-Жак Руссо с его «Рассуждением о начале и основании неравенства между людьми» (1755). По мнению Руссо, возникновение неравенства и собственности способствовало развитию человеческого общества. С развитием общества растет и неравенство, и причиной тому – свобода воли человека, его способность к совершенствованию и осознанному выбору. Следствием неравенства стало появление власти и государства. И если общество нельзя отвести от этого пути, то «единственное, что можно сделать (по мнению Руссо), – стараться смягчить неравенство и не доводить тягу к власти до деспотизма» (с. 13). Такая позиция делает Руссо эгалитаристом.

В отличие от Руссо, русский философ Николай Бердяев в книге «Философия неравенства» выступает с антиэгалитаристских позиций. Он утверждает, что любое творческое движение возможно только там, где есть неравенство, выделение качеств, дифференциация, да и сам человек рождается благодаря неравенству. Поэтому требование абсолютного равенства есть требование возврата к темному недифференцированному хаосу, то есть небытию, максимальной мере беспорядка, тогда как организация, дифференциация, снижение энтропии суть иные названия неравенства. По мнению Бердяева, стремление к равенству может привести к социальной катастрофе. Хотя иерархическая организация не способствует динамичному развитию общества, зато она укрепляет его стабильность. Доживи Бердяев до начала XXI века, он наблюдал бы опровержение своего тезиса.

Никита Елисеев считает сочинение Руссо основополагающим источником по проблеме равенства–неравенства, выбор

же остальных текстов он признает субъективным. В его обзор включены в основном ныне здравствующие современники: израильский экономист, создатель «единой теории роста», сторонник стадийного развития человеческой цивилизации, прогрессист и позитивист Оded Галор; американский экономист сербского происхождения Бранко Миланович – автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство», который подметил, что неравенство в богатых странах увеличивается вопреки гипотезе Саймона Кузнецца, и прогнозирует закрепление неравенства внутри отдельно взятых стран; российский экономист, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников, который не видит в мире особого роста неравенства и считает его фиктивной проблемой; австрийский историк Вальтер Шайдель – автор книги «Великий уравниватель: насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия», где он пишет, что неравенство устранить нельзя, но его сокращение происходит в результате четырех факторов или их комбинации – длительной войны, социальной революции, пандемии, краха государства. Немецкий философ Норберт Болц и русско-американский писатель и публицист Игорь Ефимов родились и выросли в странах социалистического лагеря, они имели опыт тоталитарного эгалитаризма, а потому «любая эгалитаристская попытка воспринимается ими [...] как более чем тревожный и опасный эксперимент, чреватый ненавистным для них или для нас социализмом» (с. 37–38). А вот по мнению французского экономиста Тома Пикетти, автора «Краткой истории равенства», именно стремление к равенству обеспечило прогресс человечества в технологической, экономической и социальной сферах. Для него традиционное общество – это общество вопиющего неравенства, а рост социальной напряженности, социальные конфликты его не только не пугают, но, напротив, обнадеживают.

Вторая и основная часть книги – «Разговоры с людьми». В отличие от текстов, которые, по словам Елисеева, «беззащитны перед интерпретатором, толкователем, излагателем», живые собеседники «более чем защищены перед вопрошающим, но тем с ними интереснее» (с. 8). Автор фактически сформировал экспертную группу по теме равенства и неравенства, проведя с каждым из ее членов глубинное интервью. Он задает своим ученым респондентам одни и те же вопросы в разных вариациях. Является ли рост неравенства экономической или социальной проблемой? Какие бывают виды неравенства? Какие виды неравенства устранимы, а какие нет? Какова связь между процессом глобализации и ростом неравенства? Насколько стремление к равенству плодотворно и благотворно для развития общества? Как связаны равенство (неравенство) и справедливость? Как соотносятся равенство и свобода? На эти и другие вопросы отвечают культуролог, этнограф, фольклорист Валерий Дымшиц; историк-американист Иван Курилла¹; историк Борис Колоницкий; историк, литературовед, писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин; историк, религиовед Сергей Фирсов; священник Георгий Иоффе; социолог Мария Мацкевич; социолог, биолог, историк науки Даниил Александров; социолог Мария Сафонова; социолог, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков; экономист Кирилл Борисов.

Все это представители научной интеллигенции. Все они широко и глубоко образованные люди – и добросовестные ученые. Именно поэтому зачастую их ответы на вопросы интервьюера выглядят очень осторожными, словно собеседники сговорились играть в игру «да и нет не говорите». «Это зависит от ситуации», «это зависит от культурных и этнических особенностей», «это

проблема восприятия», «нет универсальной категории справедливости», – читаем мы и вынуждены с этим согласиться. Получается, научная добросовестность респондентов требует учета целой массы параметров и по внешнему впечатлению идет наперекор ожиданиям публицистической ясности. Особенно это видно из диалога с социологом Марией Сафоновой, которая все время настаивает на уточнении вопросов, терминов и условий, так что интервью становится похоже на перетягивание каната. Впрочем, Никита Елисеев сразу предупредил читателей: «Это книга вопросов, а не ответов» (с. 7). Это нужно иметь в виду.

Автор-составитель избрал для своего издания форму интервью, очевидно, чтобы попробовать раскрыть истину в диалоге, оставляя собеседникам пространство для размышления. Но анкетный подход с повторяющимися вопросами создает ощущение *déjà vu*, поскольку зачастую ответы содержательно пересекаются. Массив интервью с интересными и знающими собеседниками в итоге создает впечатление, что нам вручили некий исходный материал для осмысления, в котором предлагается разобраться самим, что это задел для еще одной, более компактной книги. Возможно, автор когда-нибудь предпримет этот непростой, но благодарный труд. А пока посмотрим, какие же выводы удалось извлечь из этих интервью.

Итак, равенство – некий идеал, его трудно определить, потому что люди изначально неравны, и поэтому нужно всегда уточнять, о каком равенстве идет речь. Есть только два вида равенства, о которых можно сказать, что они понятны, хотя бы интуитивно. Во-первых, это равенство перед законом, то самое *égalité* из триады «свобода, равенство, братство»: оно вполне оформляется конституционно и его соблюдения, как соблюдения прав человека,

1 Внесен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов. – Примеч. ред.

можно по крайней мере требовать. Если механизм, обеспечивающий равенство перед законом, работает нормально, то он воспринимается как справедливый. Во-вторых, это равенство перед богом: оно понятно сторонникам авраамических религий, соразмерно идее покаяния, хотя и остается идеальной концепцией. «Равенство в Боге для верующего человека естественно» (с. 132). В практическом же смысле равенство лучше понимать как «предоставление людям одинаковых возможностей на получение базовой стартовой площадки для развития; [...] равенство – это равенство прав прежде всего» (с. 127).

Говоря о неравенстве, необходимо также уточнять, какое неравенство имеется в виду – физическое, экономическое, юридическое, социальное или иное. Сергей Фирсов, в частности, выделяет неравенство религиозное, сословное, образовательное, интеллектуальное, имущественное. Виды неравенства, на которые указывает Мария Мацкевич, – это пол, возраст, раса, этничность, религия, место проживания, доход, состояние, владение активами. Одни виды неравенства устранимы, другие нет. Неравенство существует изначально, оно задает динамику развития, свободные люди создают его естественным образом и готовы мириться с ним (или даже не задумываются о нем), если оно воспринимается ими как справедливое или естественное, а источники неравенства прозрачны и открыты. Но, если неравенство с какого-то момента видится как несправедливое, возникает социальное напряжение, конфликт, которые устраняются продвижением к эгалитаризму.

Неравенства больше там, где больше свободы. Попытки насильственного установления равенства приводят к коллапсу общества, однако общества, на уровне закона закрепляющие неравенство, приходят к жесткой иерархии и фашизму. Неравенство будет всегда, поэтому его нужно постоянно держать под контролем, урав-

новешивать эгалитаристскими усилиями, бороться с ним, если нужно.

«Общества с очень низким равенством и с очень высоким будут одинаково нестабильны. Почему? – Потому что и то и другое будет восприниматься членами того и другого общества как несправедливость» (с. 199).

В частности, для экономического роста мало неравенства и много неравенства одинаково плохо, нужно что-то среднее. Таким образом, человеческое общество находится в постоянном движении, пребывая в конкретный исторический момент в той или иной точке континуума, который задается двумя измерениями, определяющими «количество» равенства–неравенства и свободы–несвободы. Эта модель условна, потому что слишком много зависит от того, как человек их воспринимает и переживает, от этического, культурно-антропологического, социально-психологического факторов. Об этом и многом другом – «Разговоры о равенстве и неравенстве» Никиты Елисеева.

СЕРГЕЙ ГОГИН

«Жесткая» и «мягкая сила» британского льва. Из истории колониальной политики
Ответственный редактор ТАТЬЯНА ЛАБУТИНА
СПб.: Алетея, 2025. – 581 с. – 600 экз.

Термины «жесткая» и «мягкая сила», введенные Джозефом Наем в 1980-х, не только прочно вошли в научный оборот, но и стали широко использоваться архитекторами внешней политики современных государств, фигурируя в их стратегиях и концепциях. Во всем мире под государственным патронажем создаются многочисленные фонды и институты, декларирующие продвижение «мягкой силы» той или иной страны в ка-

честве своей цели. В связи с этим большая часть профильных исследований «мягкой силы» концентрируется на попытке оценить фактическую ситуацию с ней: то, как страны конкурируют в применении этого ресурса, или же какими особенностями отличаются сегодняшние его варианты.



В противовес такому ракурсу в новой книге серии «Рах Britannica» издательства «Алетейя» понятия «жесткой» и «мягкой силы» анализируются применительно не к настоящему, а к прошлому – к исторической эволюции британского империализма. Подобный подход представляется оправданным: ведь системы доминирования, выстраиваемые некогда европейскими империями, неизменно сочетали грубую силу оружия с более деликатной силой культуры или экономики. В рецензируемый сборник вошли 25 статей российских авторов, разделенные на семь тематических разделов. По большей части в каждом материале представляется концентрированный анализ либо британского влияния на конкретную страну, либо применения какого-то специфического инструмента «мягкой силы» в британской внешней политике. При этом в поле обзора попадают как политика Лондона по отношению к колониям, доминионам и прочим зависимым территориям, так

и его взаимодействие с большими и малыми державами-конкурентами. Кроме того, в книге затрагиваются и разворачивавшиеся в самом Соединенном Королевстве внутриполитические процессы, связанные с внешней политикой.

В редакционном введении задаются концептуальные рамки и теоретические основы, которые, предупредим наперед, далеко не всегда согласуются с позициями отдельных авторов. О размытости границ между «мягкой» и «жесткой силой» говорят с момента появления терминов; эта невнятность не раз становилась объектом академической критики. Некоторые исследователи уходили от упомянутого затруднения, продвигая нечто среднее – концепт «умной силы», располагаемый на стыке двух спорных понятий: в него среди прочего включали экономические санкции, шпионаж, деятельность международных организаций. Тем самым «жесткая сила» ограничивалась исключительно военными действиями, а «мягкая» сводилась к культурному влиянию. Однако научного консенсуса в указанном плане не наблюдается до сих пор, что наглядно проявилось в рецензируемой работе.

Среди ее авторов нет единодушия и по поводу обобщающей оценки британского колониализма как политико-исторического явления. Так, в нескольких вошедших в сборник статьях британцев безапелляционно обвиняют во всех бедах государств и народов, когда-либо попадавших даже под косвенное их влияние; причем делающие это авторы легко используют марксистские формулировки и напрямую ссылаются на трактат «Империализм как высшая стадия капитализма». Особенно показательна в этом отношении глава «Британская “неформальная империя” в Латинской Америке», написанная Николаем Ивановым (Институт всеобщей истории РАН), по мнению которого, Англия несет прямую ответственность за развязывание едва ли не всех войн в Латинской Америке XIX века, установле-

ние полного контроля над финансами и промышленностью целого континента, а также навязывание латиноамериканцам экономики сырьевого типа.

На этом фоне авторских симпатий удаётся парaguayский режим Франсиско Солано Лопеса (1862–1869), который ориентировался на нечто абсолютно противоположное: жесткую централизацию, крайний протекционизм и автаркическую самодостаточность. Уместно заметить, что в современной литературе упомянутый персонаж зачастую предстает безрассудным честолюбцем, возмнившим себя Бонапартом местного масштаба, – не удивительно, что его правление обернулось войной со всеми парагвайскими соседями, которую Иванов, впрочем, тоже связывает с интригами Лондонского банка. Этот пример «мягкой силы» пристегивается к ленинскому тезису о «полуколониальной зависимости стран Латинской Америки» и «жестокости, нечеловеческой эксплуатации ресурсов, постоянной угрозе вторжений и интервенций, организации войн и государственных переворотов» (с. 92), изображаемых в качестве основных инструментов господства туманного Альбиона над Южной Америкой.

Другие авторы, однако, будучи не столь категоричны, оценивают британское влияние как скорее противоречивое и неоднозначное: реализуемые англичанами строительство железных дорог и телеграфных линий, открытие образовательных учреждений, борьба с пиратством и работоторговлей рассматриваются ими как примеры вполне положительного влияния Англии на осваиваемые страны.

Любопытна своеобразная переключка только что описанной главы об английских кознях с более обстоятельным анализом аргентинского кейса, предпринятым Владимиром Казаковым (Институт всеобщей истории РАН) в главе «Аргентина от колониализма к неоколониализму». Используя гораздо более сдержанные формулировки

и оперируя в основном экономической статистикой, этот специалист прослеживает путь Аргентины от колониального владения Испании до неофициального «шестого доминиона» Великобритании. При таком подходе влияние британского льва предстает не столько результатом хитроумной политики Уайтхолла, сколько закономерным итогом взаимовыгодного сотрудничества между английскими банками и частью аргентинской элиты (хотя и не аргентинским народом).

По версии Казакова, соблазнившись выгодной экономической конъюнктурой, правящие круги богатой ресурсами страны по собственной инициативе развернули прибыльную торговлю с промышленно развитой Британской империей, извлекая из нее несомненные финансовые выгоды и взамен постепенно отказываясь от экономического суверенитета. В середине XIX века в подобной атмосфере в Аргентине учреждаются представительства англоязычной диаспоры, англофильские клубы, масонские ложи; более того, под британский контроль малопомалу переходят местные банки, газеты, партии. Экономические потрясения конца столетия и грянувшая за ними мировая война преобразовали международные рынки, сделав аргентинскую торговлю с Великобританией не столь выгодной, как раньше, но успевшие прижиться институты и принятые международные обязательства уже не позволяли стране отказаться от устаревшей модели сотрудничества. Как утверждает в этой главе, лишь появление на сцене нового актора в лице Соединенных Штатов Америки позволило аргентинцам разрубить этот гордиев узел «мягкой силы» – не без издержек, но уже другого рода.

Вышеописанный «аргентинский механизм» – с естественными поправками на местную специфику – просматривается и в других материалах сборника. Например, история Ост-Индийской компании началась с взаимовыгодной торговли, а закончи-

лась полным подчинением субконтинента и коронацией Виктории в качестве императрицы Индии. Еще более показательна судьба североамериканских колоний, которые долгое время богатели за счет трансатлантической торговли и лишь после Войны за независимость сумели вырваться из цепких лап британского льва. Интересно, что экономическую экспансию Альбиона и в Северной, и в Южной Америке неизменно сопровождала популяризация на осваиваемых территориях английской культуры, английской моды, английского стиля. Качество британских товаров превозносилось колонистами, даже несмотря на крепнущую политическую неприязнь к британской короне.

Как показано в статье Марии Филимоновой (Курский государственный университет) под названием «“Мягкая” и “жесткая сила” во взаимоотношениях Великобритании и ее североамериканских колоний накануне Войны за независимость», постепенное осознание североамериканской интеллигентской элитой ненормальности такого положения вещей сыграло заметную роль в подготовке политического обособления колоний от Англии. Занимаясь этим, местный образованный класс фактически присвоил себе инструменты «мягкой силы», используемые Британией: идеологию свободолюбия и совершенства парламентаризма. Английская администрация в колониях опиралась на этот дискурс, мобилизуя поселенцев на противостояние франко-испанской угрозе, но по мере нарастания экономической конфронтации с метрополией он сделался оружием «отцов-основателей», одновременно атаковавших потребительское восхищение всем английским: «английские финтифлюшки» стали излюбленной мишенью для критики американских революционеров-виггов» (с. 225).

Тезис об ответственности национальных элит тех стран, которые попадали в зависимость от Англии, прорабатывается в главе

«Англомания и англофильство российской политической элиты как результат “мягкой силы” британской колонизации (XVI–XVIII вв.)», написанной Татьяной Лабугиной (Волгоградский государственный университет). Обращаясь к распространению англофильства в политических верхах Российской империи, она оценивает британское влияние как в основном разрушительное. По мнению автора, торговля с Англией, на которой наживался лишь узкий слой помещиков и которая шла бок о бок с продвижением культурной англомании, заметно преобразуя российский правящий класс, никак не затрагивала большинство населения. Общий вывод исследовательницы не может не впечатлить: собственно, как раз злонамеренное вторжение английского духа в русскую жизнь и породило «начавшийся в XVIII веке раскол российского общества, [...] что привело в конечном итоге к крушению Российской империи в 1917 году» (с. 426). При таком подходе главным следствием, оставленным британской «мягкой силой» в России, предстают не железные дороги или иные инженерные проекты и даже не извлеченные из российских недр ресурсы, а огромная пропасть между англофильской элитой и чуждой англофильству народной массой. А поскольку это в конечном счете и спровоцировало революцию, то читатель должен заключить, что первейшими ее подстрекателями были отнюдь не немцы.

Конечно, с Российской империей все было посложнее, чем с Латинской Америкой или Африкой – хотя бы в силу бескрайних пространств и наличия дееспособной армии, – но в целом, если судить по материалам сборника, генеральная линия и на наших землях перманентно оставалась одной и той же. Повсюду, где присутствовали британские интересы, дипломатическое давление Уайтхолла, которое стопорило любые внешнеполитические инициативы, не укладывавшиеся в британские представ-

ления о «балансе сил», соседствовало с широким сбытом английских товаров, взятками высшему чиновничеству, пропагандой английской культуры. В десятилетия «блестящей изоляции» (1815–1896) комбинация перечисленных факторов помогала Лондону парализовать любые исходящие извне инициативы антибританского толка.

Интересен представленный в книге анализ методов колониального управления, применяемых англичанами. В частности, Станислав Малкин (Самарский государственный социально-педагогический университет) посвящает свой текст «Между военной и политической целесообразностью: армия и политика внутренней безопасности в Британской империи в эпоху Интербеллума» межведомственным дискуссиям на эту тему, которые велись в британском правительстве между двумя мировыми войнами. По мнению автора, в споре военных и гражданских чиновников о допустимых границах применения силы для удержания колоний отразился переход от силового доминирования посредством малых войн (как в викторианскую эпоху) к более комплексному подходу: «современному пониманию антиповстанчества, предполагающему тесное переплетение военно-полицейских и политических мер ввиду необходимости добиться лояльного поведения значительной части местного населения» (с. 498). Соответственно, отсюда вытекали минимальное применение силы для поддержания порядка, а также приписывание «непропорционально большого значения... тактическим для британского имперского проекта уступкам» (с. 513).

В главе отмечается, что британцы, в принципе, всегда были готовы идти на компромиссы с покоренными народами по вопросам местного самоуправления, гражданских прав и религиозной терпимости: все это никак не ставило под угрозу доминирование Англии как колониальной державы, но весьма способствовало успеху в «борь-

бе “за сердца и умы” населения» (с. 498). Первым и самым удачным опытом подобного рода стала Канада, где подтверждение короной юридических прав франкофонов и свобода местного самоуправления смогли удержать владение на орбите Лондона, несмотря на противостояние с США. Интересно, что в конце статьи Малкин призывает «относиться с большой долей осторожности к предложенному Ханной Арендт и затем многократно растиражированному представлению о том, что практика колониального насилия переносилась из колоний в метрополию» (с. 514).

Среди проводников британского влияния на страницах книги фигурируют и масонские ложи – в наше конспирологические времена об этом просто нельзя было не упомянуть. В эту тему углубляется Сергей Киясов (Саратовский национальный исследовательский государственный университет) в главе «Масонская экспансия» в хронологии Века Просвещения». Он констатирует, что зародившееся в Англии движение «вольных каменщиков», предлагая универсалистские этические нормы, альтернативные религиозным, использовалось как инструмент «мягкой силы», а обрядовая часть масонских ритуалов превратилась в экспортный товар. Однако, как представляется, хотя Объединенная великая ложа Англии и обладала некоторым влиянием на многие подчиненные ложи, переоценивать их политическое значение все же нет никаких оснований.

В научно-популярном труде «История Англии» французский писатель Андре Моруа так сформулировал свое видение британской империи:

«Разрозненные саксонские и датские племена, добравшись до острова за пределами Европы и смешавшись с остатками выжившего кельто-римского населения, были организованы нормандскими авантюристами и за несколько веков стали хозяевами трети нашей планеты. [...] Очень интересно

искать секрет такого поразительного успеха, сравнимого с былым успехом Рима»².

Представленный выше коллективный труд, объединивший очень разношерстные по настрою, методологии и тематике статьи, похож на замысловатый пазл, собрать который предстоит читателю. Итогом может стать либо ответ на тот нетривиальный вопрос, которым задавался Моруа, – либо же, напротив, провал очередной попытки на него ответить.

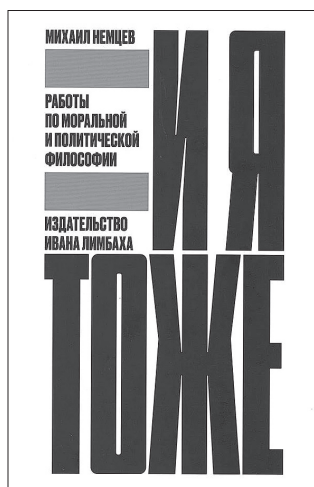
АНТОН КУТЕЕВ

НАУЧИТЬСЯ ДУМАТЬ В СТРАХЕ

И я тоже. Работы по моральной и политической философии

МИХАИЛ НЕМЦЕВ

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. – 272 с.



Книга философа и публициста, исследователя этики и социальной памяти Михаила Немцева составлена как будто из разрозненных «статей и заметок о моральных и политических решениях в условиях современного

российского общества, об альтернативных основах совместной жизни». Сюда включены и рецензии – не только на философские труды (к которым относится книга Джорджо Агамбена «Что такое повелевать»), но и на художественную литературу (например на роман Владимира Сорокина «Теллурия»), – а также комментарии к статьям, ответы на комментарии к одной из статей автора (философских текстов в таком формате мы, кажется, еще не видели), интервью (данное коллеге-философу Татьяне Левиной о «новой этике» и ее критике), номинации на философскую премию имени Александра Пятигорского (короткие – не больше странички – аннотации номинируемых книг с блиц-анализом их философской новизны и значимости), некролог кинорежиссеру Алексею Балабанову и отчасти некрологический текст памяти философа Олега Генисаретского, записи из личного дневника.

Можно, конечно, подумать: не было ли несколько поспешным включать в число работ по философии тот же некролог Балабанову? – да еще очень личный, как и дневниковая запись: «Я помню, как несколько лет назад, в какой-то раз посмотрев его “Войну”, вдруг вздрогнул: это же про “Чечню в голове”» (с. 131). Однако этот текст – вместе с личными его истоками – совершенно уместен: речь там о том, что Балабанов, по мысли автора, делал работу философского порядка и запускал таковую в головах зрителей. Его фильмы Немцев прочитывает как рефлексию о природе зла, о механизмах действия зла в человеке (это одна из ведущих тем и его собственной книги):

«Балабанов показывал (в точном смысле слова, показывал на экране – нам, плохо умеющим смотреть...), как мечты этой драмы незаметно прорастают сквозь наши глаза, кристаллизуясь в оптическое устройство, расцветивая будто бы ясно видимый мир, а потом подменяя его. [...] Одновре-

2 Моруа А. *История Англии*. М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2018. С. 560.

менно показывал, где, в каких общественных норах, в каких головах, в каких словах, действиях, эмоциях живет и прорывается наружу эта нечисть» (с. 132).

Это пример того, что философским текст делает не жанровая принадлежность, не тип выстроенности, даже не стилистика (Немцев, как видно по приведенной выше цитате, умеет выражаться и исключительно метафорически, не используя ни единого философского термина), а только постановка вопросов и характер ответов на них. Самим способом своего мышления Немцев демонстрирует именно это, выявляя заодно и смыслообразующий потенциал текстов, шире – типов высказывания, связывать которые с философией в нынешнем общекультурном сознании (автор апеллирует прежде всего к нему, а не к коллегам-профессионалам) не очень-то принято – и совершенно напрасно.

Кстати, высказываний в академических форматах в книге не найти вовсе, и это кажется следствием не только интеллектуального темперамента автора, но и его принципиальной позиции. В некотором смысле Немцев возвращает философию – точнее, философствование как процесс, как тип усилия – к ее доакадемическим истокам, к вырастанию мысли из живого и повседневного опыта, к ее родству с устным словом. Немцев показывает, как, стимулируемая событиями вполне ситуативного порядка, мысль перерастает обстоятельства своего возникновения и выходит на уровень общезначимого. Это важно не только потому, что таким образом расширяется круг источников философской мысли (в пределах таким источником способно стать практически что угодно, главное – правильно поставить вопросы). Еще важнее то, что автор показывает: философская работа напрямую связана с сущностью человека – всякого, помимо и прежде его профессиональных (узкоспециальных) занятий, уме-

ний и статусов. И вот это уже имеет прямое отношение к морали – главному предмету книги, – к отношениям человека с добром и злом, а тем самым – и к политике.

Немцев занимается сущностной взаимосвязью морального и политического, прорастанием их из общего корня, принадлежностью к одному континууму: политическим как разновидностью морального, проекцией его в макросоциальную плоскость. Проблемы, моральные и политические, оказываются следствием проблем гораздо более глубоких – пристальное их рассмотрение выводит автора к вопросу о том, что такое человек, какова природа человеческих общностей, в которые тот вольно или невольно оказывается включенным. Все политически значимые действия и/или бездействия он укореняет в отношениях человека с самим собой, в топологии и динамике его внутреннего мира.

Прорастание мысли из повседневного опыта в случае Немцева ни в коей мере не отменяет ни строгости мышления, ни тщательной фундированности высказанного работами коллег и предшественников, на которых автор неукоснительно ссылается. От того, что практиковалось во времена Сократа, когда философская мысль возникала из разговоров на афинских прогулках, философствование Немцева отличается разве что постоянным удерживанием в поле внимания написанной с тех пор литературы, многообразием форматов и рассуждениями о существовании философии как таковой: при том, что это не основной предмет авторской рефлексии, сказано здесь много пронизательного.

В текстах, собранных в книгу, активно сотрудничают друг с другом несколько образов автора: философ, публицист и просто частный думающий и чувствующий человек, все философские вопросы воспринимающий как обращенные прежде всего к себе самому – как к единице существования и ответственности. Подобно коллегам-публи-

цистам, Немцев оперативно откликается на актуальные события – на взрыв российского самолета над Синайским полуостровом (2015), на серию терактов в Париже (2015), на установку памятника Сталину в Новосибирске (2019) – но смотрит на них глазами философа и именно в таких ситуациях, бросающих вызов человеку в целом, усматривает один из наиболее действенных стимулов философского мышления.

«Я исхожу из того, что философия случается / имеет место в момент обращения мыслящего к собственному мышлению, и наилучшее место и время для этого – на улице, по пути “из точки А в точку Б”» (с. 184–185).

Одна из ведущих тем книги – природа зла и взаимоотношения с ним человека, на что, в частности, указывает открывающее повествование размышление об институтах зла:

«Это институты (организации, учреждения), основная функция которых – совершение актов зла. Они производят страдание, разрушение и смерть. Они принципиально не реформируемы. Их невозможно преобразовать, потому что они для этого созданы» (с. 17).

Здесь же предложено и определение политики, в котором формулируется скорее оптимальный – не сказать утопический – ее проект, нежели реальное состояние:

«[Политика – как] искусство сбережения жизни. [...] если так, то исходной точкой современной политической мысли и политического самоопределения становится неприятие даже потенциальной возможности существования, становления и развития институтов зла» (с. 22).

О природе зла Немцев говорит, не затрагивая его религиозных, метафизических, онтологических и культурных измерений, предлагая такое его определение, которое мог бы принять человек с любыми культур-

ными координатами, с любой религиозной принадлежностью или без таковой:

«Это действие по причинению страдания вплоть до смерти и производство разрушения, которое вызывает страдания. [...] Это зло – разрушение, страдание и смерть. [...] Моральным злом является зло, производимое людьми» (с. 13).

Говоря о морали и формулируя вопросы, с которыми стоило бы обращаться к себе всякому мыслящему человеку, особенно так или иначе причастному к работе институтов зла («что я сделал(а)?», «с кем вместе я это сделал(а)?» и «для кого я это сделал(а)?», с. 21), Немцев представляет мораль как часть *мышления*, притом необходимую, органическую, как прямое следствие мыслительных усилий. Соответственно, получается, что, если человек недостаточно морален, он недостаточно мыслит.

Немцев рационален тотально: ничему иррациональному, непостижимому, уловимому иными, нежели разум, средствами, он в своей системе взглядов места не оставляет. Перед нами именно система – отчетливая и тщательно выстроенная. Разнородность и разножанровость вошедших в книгу текстов лишь способствуют ее выявлению, показывая ее с разных сторон.

Некоторые вопросы – вероятно, в силу своей природы – так и остаются открытыми. Таков наиболее жгучий вопрос о коллективной ответственности, о самой возможности ее и об отношениях с нею обычного человека. Этому посвящены центральные для книги «Три разговора» о том, что такое «коллективная ответственность», которые ведут между собой три персонажа, представляющие различные точки зрения. Подводя итог этим диалогам, автор пишет:

«Мы так и не дошли до сути “моральной” коллективной ответственности. Отвлеклись на “причастность”, и хотя она принципиально важна, конечно, но все-таки на ней действенную этику не построишь» (с. 116).

Немцев такую этику (пока?) и не строит – но во всяком случае расчищает и размечает территорию под ее будущий фундамент. Автор с тремя собеседниками приходят к нескольким важным заключениям, среди них – прояснение сути ответственности как таковой, того, как она соотносится с долгом и чем отличается от вины. Немцев полагает, что, во-первых, у ответственности, в отличие от вины, нет отмеренного срока – она не заканчивается; во-вторых, по отношению к ответственности принципиально невозможно прощение; в-третьих, в некотором смысле вина и ответственность противоположны друг другу.

«[В] вине есть какая-то нехватка, неполнота, какое-то “не”, негативность. Она не делает нас больше, не расширяет наши возможности. Принять ее – принять эту нехватку, как бы сделать свой мир беднее. [...] Принять же ответственность, значит сделать движение вперед. Ответственность в каком-то очень осязаемом нами смысле расширяет наши возможности. Можно считать наличие ответственности благоприятным. О вине так не скажешь. Вина – это всего лишь чистое страдание» (с. 59, 60).

Немцев исследует внутриличностные механизмы одновременных причастности (неминуемой) к социуму, актуальных ценностей которого ты в полном праве не разделять, и дистанцированности от него (достигаемой внутренним усилием) – осмобождающей, создающей саму возможность принятия решения о социально значимом поведении. Говоря о «философском сопротивлении терроризму» (с. 177), он обращает внимание на возможность не идти на поводу – не только у терроризма как одного из наиболее принуждающих поводов, но у чего бы то ни было:

«Научиться думать в страхе, суметь *продолжать думать, когда страшно*. [...] Опыт косвенного вовлечения в терроризм учит этому – продолжать думать о своем, уклоняясь от того, чтобы думать о том, о чем

нас направляют думать терроризм и созданные им медиаволны. [...] И тут важно не позволить себе начать думать на основе аффекта» (с. 182).

Дистанция (включая дистанцию от собственных аффектов), говорит Немцев, – разновидность свободы. Только очень дисциплинированной, жестко структурированной, с внутренним локусом контроля. В этом, собственно, и смысл ответственности: ответить на ситуацию собой – прежде всего прочего самому себе.

Таким образом, у представленного здесь хода мыслей есть и прикладной аспект. Автор ищет основу для ответов на вполне насущные и практические вопросы: как относиться к ныне переживаемому, какие решения принимать, как вести себя здесь и сейчас, в проживаемой критической ситуации? Ответов, советов и уж тем более инструкций Немцев не предлагает – он лишь указывает возможные пути, которыми эти ответы стоит искать каждому, кто обратится с теми же вопросами к себе, как поступает и сам автор.

Ольга Балла

Инцелы. Как девственники становятся террористами

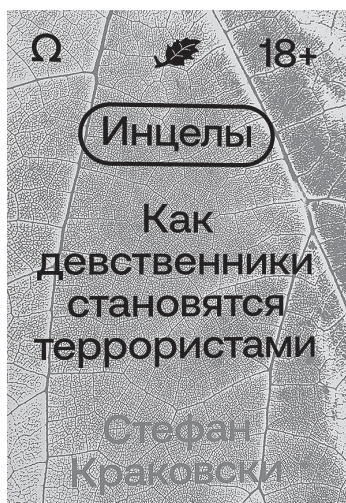
СТЕФАН КРАКОВСКИ

М.: Individuum; Эксмо, 2023. – 272 с.

В книге «Инцелы» шведский психиатр Стефан Краковски исследует становящийся все более массовым феномен недобровольно одиноких людей, в первую очередь мужчин, которых одиночество приводит к отчаянию, а в отдельных случаях к озлоблению и радикализации на почве правых идеологий.

Книга написана простым публицистическим языком; в качестве единственного недостатка можно указать разве что на разрыв

между обилием статистики и отсутствием твердой социально-теоретической рамки. Повествование состоит из двух смысловых блоков: главы с анализом социологических трендов и показательных событий, которые связаны с историей и мифологией инцел-движения, перемежаются описаниями диалогов автора с согласившимися на общение респондентами, отождествляющими себя с инцелами или сочувствующими им. В этих разговорах Краковски пытается обнаружить истоки того положения, в котором оказались его собеседники, а также раскрыть их взгляды на сексуальные отношения, общество, политику – в принципе, все, что интервьюируемые посчитали важным включить в собственное повествование.



Уже в этом аспекте книги проступает вскрытая Краковски внешне парадоксальная, но имеющая железную логику внутренняя связь между сексуальностью и интимной сферой, с одной стороны, и политическими воззрениями – с другой. Истинное же содержание этой связи, обнажаемое автором на

протяжении всей работы, заключается в том, что провал в сексуальной сфере может стать предпосылкой и основанием для артикуляции собственного социального и политического отчуждения³.

Меня эта книга заинтересовала по следующей причине. В левой среде до сих пор можно встретить суждения, согласно которым инцелы представляют собой всего лишь побочный эффект равноправия полов, не заслуживающий специального внимания. Согласно этим представлениям, подобные люди – такая накипь из мужчин, не адаптировавшихся к победе этики феминизма, и в силу изначально присущих им темноты, глупости и злобы сдвинувшихся в политических взглядах вправо. Вместе с тем ситуация гораздо сложнее и говорит скорее не в пользу подобных демонизирующих воззрений.

Начать стоит с констатации факта: экономические трансформации с начала 1990-х уничтожили зажиточную патриархальную семью образца второй половины XX века, ликвидировав ее фундамент в виде «семейной зарплаты» (дохода, позволявшего мужчине содержать домохозяйку). Материальные предпосылки, выступавшие основой для долгосрочных отношений мужчины и женщины, исчезли: женщины больше не могут в массе своей позволить себе зависимость, а мужчины – поддерживать ее. По мере трансформации общественного уклада женщина перестала соответствовать традиционному образу объекта заботы и защиты, поскольку капитализм планомерно превращал ее в самостоятельного экономического актора. Мужчины со своей стороны тоже в большинстве своем не отвечают упомянутой системе стереотипов, поскольку подрыв спроса и постоянно снижающая-

3 Не совсем понятно, что заставило переводчицу Юлию Колесову перевести оригинальный заголовок «Incel. Om frivilligt celibat och en mansroll i kris» («Инцелы. О недобровольном celibate и кризисе мужественности») той фразой, которая в конечном счете и была вынесена на обложку. Подобное искажение способно, на мой взгляд, ввести потенциального читателя в заблуждение, дополняя публикацию изначально отсутствующими в авторском подходе высокомерно-обличительными коннотациями.

ся покупательная способность затрудняют как достижение прочного социального статуса, так и обеспечение потенциальной семьи.

Однако вопреки исчезновению процветающего капитализма порожденные им критерии успеха и гендерные роли никуда не делись. Краковски пишет о том, что среди мужчин наибольшему риску остаться без сексуального партнера (да и просто в одиночестве) подвержены в первую очередь бедные их представители, не имеющие образования. Показательно, что при выборе партнера женщина отдает предпочтение именно доходу, а не образованию (с. 112). Причина в первую очередь в том, что даже в таких развитых странах, как Швеция, представление о мужчине как главном кормильце семьи по-прежнему сохраняется. Закономерно, что с учетом обеднения рабочего и среднего классов отвечать подобным представлениям все сложнее. Но, чем меньше у мужчины шансов соответствовать архаичным стандартам, тем сильнее накачивают отчаяние и злорадия.

Именно в этих условиях неравенства и появляется инцелство как наиболее радикальное выражение тенденции к увеличению числа одиноких и лишних людей, «не вписавшихся» в рынок – как буквальный, так и межгендерный. Перед нами, проще говоря, старое доброе отчуждение (*Entfremdung*), описанное еще Карлом Марксом. Здесь есть, однако, вопрос, который Краковски раскрывает лишь отчасти: почему радикализируются именно мужчины? Моя гипотеза заключается в том, что такой эффект возникает из-за асимметрии потерь, ввиду которой распад патриархального общества сильнее всего бьет именно по мужчинам.

Распространение идей феминизма и перемены на рынке труда подарили женщине новую субъектность, основания для которой начали вызревать еще в рамках патриархата. В патриархальной логике женщина вос-

принималась не совсем человеком: отголоски этого можно найти еще в античности, где по уровню субъектности женщину ставили где-то между ребенком и умственно отсталым, – вспомним римское право. Но, хотя до начала XX века ситуация менялась не сильно, подобное положение исключенного парадоксальным образом давало женщине и определенную степень свободы – в частности, в выражении своих чувств, эмоций, человеческих «хотелок». В условиях же либерального капитализма эта свобода, утвердившись в виде индивидуального права, защищенного свободой экономической, превратилась в преимущество и норму, которую даже на дискурсивном уровне невозможно оспорить.

Мужчина же, который в оптике патриархата тоже не столько человек, сколько запрограммированная машина для преодоления внешних трудностей, напротив, лишь потерял в субъектности, ничего не приобретя взамен. Если «исторически» женщина была как бы частью мужской субъектности – добываясь ее, мужчина утверждал себя как добытчика и завоевателя, – то «лишившись» женщины, он потерял не только интимность, но и конструировавший его в качестве субъекта символический ресурс. Именно поэтому некоторые мужчины, чувствуя обделенность даже в самом естественном – в простой человеческой близости, – одновременно ненавидя себя за неспособность соответствовать внешнему стереотипу, приходят к озлоблению на весь мир, а иногда к поправлению.

В наиболее мрачных проявлениях, как показывает Краковски, такая аффектация может заканчиваться реальным насилием одиночек на почве ненависти к женщинам и обществу в целом. При этом, согласно анализу Краковски, характер политизации инцелов, несмотря на присутствующий правый уклон, существенно отличается от того, как позиционируют себя типичные правые течения: «Они считают, что оказа-

лись в угнетенном положении, они мечтают [...] жить нормальной жизнью с постоянной партнершей» (с. 244). Инцелы, как утверждает Краковски, не считают себя сверхлюдьми, но, напротив, презирают себя, их первичный запрос не на мировое господство, а на стабильность, покой, признание и возможность самореализации. Лишь в своей превращенной форме этот запрос выступает апологией сексизма или патриархата. Кроме того, мировоззрение инцелов не всегда связано с конкретной политической ориентацией. Важно помнить, что речь идет в первую очередь о реакции на внутреннюю изоляцию и отчуждение, которая лишь в одном из своих вариантов находит выход в артикулированной политической позиции.

Отмечу, что распад патриархального общества, безусловно, прогресс и благо. Эпоха, в которой мужчина владел женщиной как предметом, заслуженно заканчивается. Но, вспоминая Гегеля, стоит иметь в виду, что прогресс всегда имеет изнанку в виде регресса. Обретя возможность относительно равной продажи своего труда на рынке, мы одновременно лишились устойчивости гендерных ролей, потеряли стабильные модели построения сексуальных отношений, получили кризис маскулинности и эпидемию одиночества в придачу (хотя последняя имеет более широкие причины).

Будучи психиатром, а не социальным теоретиком, Краковски, завершая книгу, в качестве ключа к преодолению нынешнего кризиса предлагает взаимоуважение. Однако кажется, что этого недостаточно: понадобится нечто большее – коренное изменение всей модели общественно-экономических отношений. Теперь уже нельзя – хотя бы из-за исторических причин – решить проблему человеческой изоляции возвратом в уютный патриархат, где все было предопределено и понятно, ценой

принижения одной из сторон брачных и любовных отношений. Точно так же нельзя превращать межличностные отношения в пространство договора, где любимого человека обозначают заимствованным прямым из бизнес-лексикона словом «партнер».

Проблема, собственно, не в инцелах. И книга Краковски на деле тоже не о них. Открываясь описанием авторских попыток наладить контакт с сообществом инцелов в интернете, повествование постепенно уходит в куда более широкий контекст. Реальный предмет книги, раскрывающийся на примере всех частных случаев, – глубокий кризис современных отношений между людьми, проникающий в самые интимные и сокровенные аспекты человеческой жизни. В этом плане книгу Краковски справедливо можно поставить на одну полку с не менее замечательным трудом Полины Аронсон «Любовь: сделай сам», не так давно вышедшим в том же издательстве «Individuum»⁴.

Таким образом, одинаково несостоятельны как истерика маносферы, желающей вернуть в сексуальные отношения рабочую модель, так и вульгарная критика, выросшая на почве феминизма, для которой гендер в дефиниции человека представляется более существенным, чем разум. Социальные проблемы женщин – это социальные проблемы мужчин и наоборот, поскольку у них единый источник, имя которому капитализм, превращающий в атомы все, чего он касается. И состязания команд обиженных мужчин с командами обиженных женщин есть лишь продолжение рыночной логики борьбы за ресурс общественного сочувствия и публичный образ жертвы. Несмотря на то, что и первое, и второе неплохо монетизируется, в том числе и в социальный капитал, решение проблемы не становится ближе. Будущее и настоящее у подобной войны только одно: горький ресентимент, страдания и

⁴ См.: Аронсон П. Я. *Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств*. М.: Individuum, 2024. (См. рецензию на эту книгу: Неприкосновенный запас. 2022. № 4(144). С. 279–283. – Примеч. ред.)

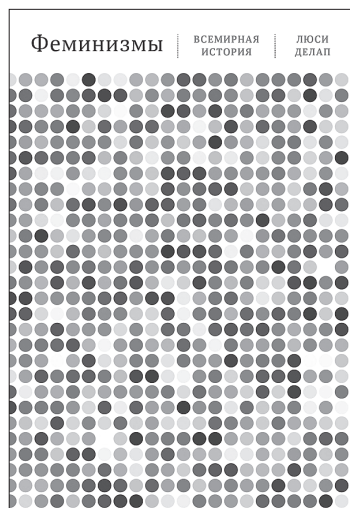
бессильные проклятия в адрес друг друга, исторгаемые в равной мере ни на что не влияющими несчастными людьми.

ЛЕВОН ГАБРИЕЛЯН

Феминизмы. Всемирная история

Люси Делап

М.: Альпина нон-фикшн, 2024. – 390 с. – 3000 экз.



Эта книга – не столько о генеалогии или хронологии вынесенного в заглавие явления, сколько экскурс в его онтологию: автор не дает строгого, научно выверенного определения исследуемому понятию, аргументируя, что есть феминизм, но зато показывает, как он существует.

Люси Делап, профессор истории Кембриджского университета, вовсе не идеализирует и, конечно же, не пропагандирует заинтересовавшее ее явление, поскольку такое не подобает ученому, но рассматривает его критично. Она вообще полагает, что никакого целостного феминизма нет и никогда не было: его образует открывающаяся взгляду исследователя-историка богатая совокупность *-измов* – таких, как

капитализм, либерализм, национализм, империализм, (анти)колониализм, расизм, – воздействовавших в разные периоды на женские жизни.

Менявшийся контекст заставлял задумываться над тем, как сочетать женскую сущность с вдохновлявшими женщин представлениями о достоинстве, свободе, справедливости, безопасности и, в конце концов, счастье. Впрочем, эти представления тоже не были монолитными: они складывались в различные эпохи, в кардинально непохожих социумах и у обладательниц несхожих биографий. Не станет откровением констатация, что женщин в колониальной Индии и колониальной Африке занимали разные проблемы, которые при этом могли вовсе не волновать, например, белых американок или европейек. Но и они, однако, в какой-то период тоже считали себя в чем-то ущемленными в сравнении с мужчинами. В качестве парадоксального подтверждения потенциальной остроты мировоззренческих различий, присущих участницам движения за права женщин, на страницах книги появляются весьма неочевидные фигуры феминисток-рабовладеллиц, феминисток-расисток, религиозных феминисток. Объединяет же их следующее:

«[Они] разделяют тот взгляд, согласно которому быть женщиной означает находиться в неблагоприятном по сравнению с мужчинами положении, а также что с этим положением можно бороться. Однако вытекающие из этого тезиса политические требования сильно различались в зависимости от эпохи и носили множество имен» (с. 9).

Специфику предмета изучения подчеркивает и сама исследовательница: в мире, особенно при ретроспективном анализе, обнаруживается множество противоречащих друг другу «феминизмов».

«Сквозная тема этой книги – это еще и главный парадокс феминизма: будучи движением, он борется за то, чтобы женщины получили доступ ко всем сферам общественно-

политической жизни, и требует радикально-го преобразования исключаяющих структур. Однако у феминизма имеются и собственные формы маргинализации» (с. 11).

По крайней мере за те двести с лишним лет, в толще которых автор отыскивает феминистские контексты, кто-то неизменно оставался за бортом. Темнокожие женщины, женщины из рабочего класса, женщины-инвалиды, женщины «незападного происхождения», женщины нехристианских вероисповеданий нередко исключались из феминистского дискурса, тренд которого зачастую – хотя и не всегда – задавали те их соотечественницы, кому повезло обладать более привилегированным статусом и которым перечисленные выше категории внушали недоверие и антипатию.

Подобные практики маргинализации описываются в главе 3 («Пространство»), где Делап обращается к опыту Австралии. Белые феминистки здесь в 1970-х на волонтерских началах создавали безопасные пространства для женщин из неблагополучных семей, отчасти компенсируя отсутствие помощи, которую жертвам домашнего насилия могли бы оказывать полиция или социальные службы. Инициатива оказалась настолько успешной, что через пару лет получила государственное финансирование. При этом в системе австралийских шелтеров не находили пристанища ни аборигенки, ни иммигрантки. Первым и вовсе приходилось преодолевать себя прежде, чем обращаться за содействием: они живо помнили, какими дикими способами белые пришельцы некогда «помогали» аборигенным общинам встраиваться в новые реалии колонизированного континента, отбирая у представительниц коренного населения детей и подвергая их принудительной стерилизации. В шелтерах же они мгновенно делались объектами повышенного контроля со стороны работавших там благополучных белых австралиек, многие из которых

в силу упомянутых исторических обстоятельств продолжали видеть в аборигенах людей иного сорта. Иммигранток же и во все порой считали не жертвами, а виновницами бедственных ситуаций, в которых они очутились – в силу тех же расистских представлений о нечистоплотности, вроденной лени, патологическом неумении противостоять обидчику (с. 147–150).

Чтобы заключить в рамки единого и логично выстроенного текста разнонаправленные женские искания, Делап выстраивает его структуру тематически (а не хронологически). Она пишет о мечтах, идеях, пространствах, объектах, чувствах (и даже песнях!), отмеченных феминистской компонентой. Этот метод позволяет показать, как мысли, рождавшиеся в умах женщин (а порой и солидарных с ними мужчин), реализуемые ими практики борьбы и протеста, используемые инструменты и стратегии, пересекая географические, социальные и временные границы, эволюционировали и трансформировались, оказавшись в новых социальных условиях.

Подобное объединение множества контекстов придает предмету исследования глубину и объем, для раскрытия которых автор предлагает смотреть на него стереоскопическим зрением – то есть одновременно рассматривая плоские изображения одного и того же предмета, снятого с разных исторических и географических точек. Это видение подкрепляется стремлением автора показать, что движение за права женщин не является сугубо западным веянием, благодаря чему на страницах книги к активисткам из Европы, Северной Америки и Австралии присоединяются феминистки из Китая и Японии, Индии и Бангладеш, арабских и африканских стран. Японская активистка Хирацука Райтё в 1911 году в своем манифесте сравнила первую женщину с солнцем. Ее кабинет, сообщает Делап, разделенный на две половины – западную и японскую, – становится идеальной

метафорой глобального феминизма, который открыт для интеллектуальных импульсов со всего мира. Хирацука читает Ибсена, Милля и Кей, но ее воззрения подпитывает и местная культура в лице синтоистского солярного культа (с. 336).

В главе 1 («Мечты») читатель знакомится с тремя сочинительницами феминистских утопий, публиковавшимися примерно в одно и то же время, но в разных уголках земного шара: бенгальской мусульманкой Рокеей Сахават Хоссейн, американской исследовательницей-социологом Шарлоттой Перкинс-Гилман и русской революционеркой Александрой Коллонтай.

В утопии «Ледиленд» (1905) Рокея рисует матриархальный рай, где мужчины заперты в женских покоях, а женщины, свободные от паранджи, управляют обществом с помощью науки и природосберегающих технологий (в годы британского колониального владычества природные богатства Индии хищнически эксплуатировались, что, по-видимому, причиняло Рокее боль). Перкинс-Гилман в романе «Её-ленд» (1915) изображает общество физически совершенных, атлетичных, избегающих нарочитой изысканности в одежде и причёске женщин-матерей, размножающихся, как ни удивительно это звучит, партеногенезом. В мире без мужчин и, следовательно, без насилия и конкуренции женщины строят жизнь на принципах материнства, кооперации и рационального труда. Коллонтай мечтает о «великой любви» и сексуальном освобождении женщины. В своих рассказах 1920-х она исследует, как новые мораль и коллективистский быт (дома-коммуны) могли бы освободить женщин от тягот буржуазной семьи.

Как мы видим, женские утопические мечты не всегда имеют общий вектор: они резонируют с различными обстоятельствами, в которых довелось побывать их носительницам. Однако их универсальная ценность, согласно Делапу, состоит в способности выявить изъяны настоящего и указать на прост-

ранство для перемен, в котором мысли могут материализоваться в практики.

Характеризуя методологию исследования, Делап использует метафоры диалога и мозаики:

«Подобно взгляду на мозаику издали и вблизи, рассмотрение течений феминизма в разных перспективах может дать очень различный результат. Как и мозаика, феминистские коалиции составлялись из тех кусочков, которые оказывались доступны: из других движений, вовлеченных участников, поступков и идей. Одни мозаики оказались прочнее, прочие рассыпались, некоторые детали потерялись, а другие снова пошли в дело. [...] Феминизм стоит рассматривать не как систему заимствований, но как систему взаимовлияний, как диалог, причем ведущийся одновременно во многих регистрах. Собеседники находились в неравных условиях. Голоса одних звучали громче, другим не уделяли должного внимания. Специалисты по глобальной истории с помощью концепции “переплетенной истории” демонстрируют, как идеи, индивиды и тексты преодолевают границы, порождая многочисленные “пересечения”» (с. 26–27).

Автор признается, что ее анализ отчасти вдохновлялся концепцией «политики в трещинах», предложенной американской исследовательницей Кимберли Спрингер:

«Я предлагаю рассматривать не только составляющие мозаику фрагменты, но и пространство между ними. В работе об организациях темнокожих феминисток (“Альянсе женщин третьего мира” и других) Спрингер описывает политику, творимую в “трещинах” – в свободное от работы и бытовых забот время. Мобилизация темнокожих женщин также располагается в пространстве между движением за гражданские права и женским движением и иногда творчески, а иногда просто странным образом демонстрирует пересечения классового, гендерного и расового характера. [...] Таким же образом можно задаться вопросом, что же делает мозаику прочной, а что ее разрушает. Или

же выяснить, как мечты и кампании, пространство и среда, эмоции и песни выступают тем “цементом”, который придает феминистской политике историческую форму; со временем его прочность слабеет, так что какие-то фрагменты мозаики могут выпасть – и составить новые рисунки» (с. 28–29).

Одним из компонентов в созидании мозаики женского движения выступают связанные с ним объекты, те элементы материальной культуры, которые создавали или задействовали в своих кампаниях феминистки. В главе 4 («Объекты») Делап показывает, как самые обычные (и необычные) предметы становились вместилищами политического смысла, инструментами протеста, маркерами идентичности. Автор утверждает, что феминизм существует не только в текстах и идеях, но и в осязаемых вещах, которые можно носить, использовать, коллекционировать и передавать.

В начале XX века суфражистки продавали (или иногда распространяли бесплатно) вещи, изготовленные в цветах движения: значки, шарфы, сумки, а также «булавки для вуали, запонки, флажки, игральные карты, мухобойки, спички, желтые рыболовные снасти, салфетки, рожки и воздушные шары» (с. 162). Желавшие выразить свою солидарность с многотрудной кампанией за избирательное право для женщин могли купить даже семена растений, которые, раскрывшись, привнесли бы в сад оттенки белого, зеленого и фиолетового – цвета суфражисток и элемент феминистской визуальной культуры (с. 161). Эта коммерческая активность одновременно выступала способом финансирования борьбы и создания узнаваемого бренда. Однако она же порождала противоречия: товары часто оказывались недоступными для бедных женщин, а ушлые коммерсанты быстро «увидели в феминизме коммерческий потенциал», запустив широкое производство «суфражистского» контрафакта. В результате следующие поколения сторон-

ниц женского освобождения решили не использовать навязчивое потребление как инструмент борьбы (с. 164).

Феминизм в интерпретации Делап многомерен, поэтому у него есть и звуковое воплощение. Разговор о последнем заходит в главе 9 («Песни»), поскольку песни, а также гимны, речовки, плачи и крики выступали аккомпанементом к протестным акциям и повседневной деятельности движения. Делап показывает, что музыка была не просто фоном, но мощным инструментом мобилизации, солидарности и передачи политических смыслов через поколения и границы. Одним из сюжетов этой главы становится история песни «Which Side Are You On?», которую в 1931 году написала американская профсоюзная активистка Флоренс Риз во время забастовки шахтеров в Кентукки. Полвека спустя, в 1982-м, эту мелодию подхватили женщины, участвовавшие в антивоенном движении: они положили на старую музыку новые слова, обличавшие расизм и домашнее насилие. В итоге одна песня связала пролетарскую борьбу за справедливость с женским пацифистским протестом – силой музыкальной традиции, способной пересекать границы классов и поколений (с. 299–301).

Отдельное миниисследование Делап посвящает звуковому ландшафту акций в Гринхэм-Коммон – палаточного лагеря около авиабазы НАТО, разбитого активистками, протестующими против размещения американских ядерных ракет в английском Беркшире. Их недовольство вылилось в одну из самых продолжительных в истории женского движения акций, которая началась в 1981 году и длилась девятнадцать лет. Женщины использовали пение, гудение и древние кельтские причитания, чтобы озвучить свое присутствие, чтобы позволить своим гневу и страху преодолеть физические барьеры – ограждение базы, за которым находились адресаты их послания. Позже «стенания» женщин у парламента

или у ракетных шахт стали способом сделать невидимое – ужас перед ядерной войной, – хотя бы слышимым (с. 320–326). Резюмируя «музыкальную» главу, Делап подводит к выводу, что феминизм всегда звучал по-разному: его репертуар охватывает и торжественные гимны, и крики ярости. Как пишет автор, услышать голоса феминисток – значит, восстановить полноту исторического опыта, фиксация которого не сводится к одним лишь текстам.

В заключении Делап возвращается к ключевой идее книги: нельзя рассказать единую историю феминизма, можно лишь проследить переплетение множества историй, идей и практик, которые пересекали границы, вдохновляли друг друга и одновременно друг с другом конфликтовали. Важнейшим выводом становится признание неизбежности инклюзий и исключений. Любая попытка сформировать универсальную повестку женского движения неизбежно порождает тех, кто оказывается за ее пределами. Именно голоса исключенных – цветных, фабричных работниц, коренных жительниц колоний – заставляли феминизм развиваться, критиковать себя и расширять границы солидарности.

Прошлое не дает готовых рецептов, но оно может вдохновлять или предостерегать. Феминистки прошлого, как утверждает Делап, часто бывали непоследовательны, разделяя расистские или классовые предрассудки. Но опыт показывает, что союзы всегда временны и их жизнестойкость требует постоянной работы, а различия между женщинами не препятствие, но источник творческой энергии. Проблема интеграции разных людей в социальную систему как равных веками занимает и мучает человечество. Благодаря предшественницам за спиной у современных активисток два с половиной века глобальной, сложной, неоднозначной, но полной эвристики истории феминизмов.

К.З.

Евгений Онегин, ██████ в стихах
Сочинение Александра Пушкина

Блэкаут

Синий Карандаш

М.: Individuum, Эксмо, 2025. – 512 с.



К двухсотлетию первого издания «Евгения Онегина» уличный художник Синий Карандаш – кто бы ни скрывался под этим криптонимом – очередной раз и нетривиальным (впрочем, и традиционным тоже, как подробно объясняется в одном из предисловий к тексту) способом продемонстрировал неисчерпаемость смыслового потенциала классического текста.

Вычеркивание строк из основательно вросшего в русское культурное самосознание «Онегина» и получение из оставшегося нового текста с самостоятельным значением – в немалой степени игра. Однако и нечто существенно большее: выявление модели прочитывания – текстов вообще и классических в особенности – как такового. Это практика, которая одновременно и своего рода теория.

Классические тексты перечитываются каждой эпохой по-своему, в них вкладываются все новые и новые смыслы, наращивая тем самым их внутренние объемы. Вот Синий Карандаш («автором» далее мы называем именно его) и показал во всей наглядности, со всем обнажением приема, как устроено такое перечитывание с его

избирательностью и субъективностью. Никто и никогда (показывает нам автор) не читает тексты целиком, во всей их полноте, а уж художественные и сложные – особенно (кроме, разве что, особенно въедливых исследователей, хотя и это спорно).

Любое прочтение выводит одни части текста в поле внимания, другие – за его пределы; выбирает то, что важно для актуальных читательских целей, отправляя остальное в зону умолчания, на другую сторону читательской Луны. В рутинной практике это не осознается: читатели полагают, что искомые смыслы в воспринимаемых текстах действительно содержатся.

Синий Карандаш в исследовательской игре с «Евгением Онегиным», прекрасно это осознавая, подтверждает: да, содержатся. И никакое это не *вчитывание*, а именно *вычитывание*, вытягивание из текста того, что там и так уже есть, что там *может* быть. Он работает с потенциальным. Из материала «Онегина», отсекая все «лишнее», Синий Карандаш создает историю – чуть ли не публицистическое высказывание, – относящуюся к нашему столетию⁵ и работающую с его смыслами. Как замечают в аннотации издатели книги, «Онегин» и тут не перестает быть «энциклопедией русской жизни», разве что «в условиях антиутопической реальности» (с. 4).

Определенная публицистичность заключена в самой практике блэкаута, поскольку это инструмент не только авангардного искусства, но и куда менее авангардной цензуры, к которой отсылают рассекающие тело текста черные полосы. Для полноты восприятия работы Синего Карандаша во внимании надо удерживать обе стороны этого инструмента. Цензура, как замечает автор первого из предисловий, вообще «охоча до выдающихся текстов» (с. 7).

У книги три предисловия, которые важны ни чуть не менее, чем основная часть –

собственно текст «Онегина» с изъятиями, – и могут быть названы самостоятельными исследованиями. Написаны они поэтом и литературным критиком Львом Обориным, поэтом Андреем Черкасовым и самим Синим Карандашом.

Лев Оборин анализирует идеологию всего предприятия («Объединенные сюжетами власти, мытарств и духовного поиска строфы этой версии романа похожи на закрытые двери, в которых есть небольшие отверстия», с. 24) и выявляет его культурные корни: при всей видимой дерзости обращения с «Евгением Онегиным» Синий Карандаш далеко не первый и встраивается в почтенную традицию, история которой, кажется, получает описание здесь впервые.

У «Евгения Онегина» была насыщенная история не только прочтений, но и вполне практических, прикладных рецептов, техник обращения с ним как с предметом различных (около)художественных манипуляций – история, начавшаяся еще до завершения публикации романа в стихах (по всей видимости, яркие тексты, будучи вызовом культурным инерциям, на такое провоцируют). «Литературные игры с “Онегиным”, – пишет Оборин, – начались почти сразу после публикации первых глав» (с. 20).

Это были игры разного рода: от пародий, подражаний («к которым Пушкин относился снисходительно», с. 20) и использования онегинской строфы как в оригинальном (АВАВССДДЕФЕГГ), так и в зеркально перевернутом (ААВССБДДЕФГФГ) виде⁶ до переименований текста с разной степенью радикальности (каковых «существует несколько десятков», там же). В 1920-е его вообще вынесли за пределы литературы, когда школьники начали «инсценировать суды над Евгением Онегиным и другими героями классики» (с. 21). Следует вспом-

5 Сам он говорит, что – к XIX и к XXI одновременно: «Сюжет разворачивается между XIX и XXI веками» (с. 39).

6 Этим вариантом онегинской строфы Владимир Набоков написал «Университетскую поэму».

нить и многообразное обыгрывание этого «прескриптивного культурного артефакта» (с. 22) концептуалистами⁷. Оборин отмечает, что и сам Пушкин, собственноручно изъяв из окончательного текста «Онегина» десятую главу, предвосхитил такие авангардные техники, как кат-ап и блэкаут, создав «нечто среднее» (с. 20) между ними.

А раз каждая культурная эпоха только и делала, что обращалась с классическим текстом в соответствии с собственными нуждами, то нечто подобное напрашивалось и в наше время – не останавливаться же этому вечно живому процессу! Искушения не избежал и автор второй вступительной статьи, поэт, «один из пионеров блэкаута в России» (с. 23), Андрей Черкасов: он провел с «Евгением Онегиным» собственные манипуляции под названием «Йенгив Йовинье» – «эксперимент с двойным машинным переводом и последующим стиранием большей части текста». В результате получается что-то совершенно не похожее на «Онегина», но интригующее:

ход ограничения
тривиальное путешествие по пустыне
фиолетовый тынет меня (с. 23).

Черкасов обращает внимание на двойную природу блэкаута – «одной из наиболее распространенных техник в области “найденной поэзии” [*found poetry*]» (с. 25), способной в равной степени служить как искусству, так и цензуре. Он объясняет сущность этой художественной практики, рассказывает ее историю от самых истоков (стихотворения Ман Рэя 1924 года, состоявшего «из черных линий разной длины», с. 26), не проходит мимо родственных блэкауту практик: например, Всеволод Некрасов «апроприировал» (с. 30) строки Пушкина.

7 Так, «Д.А. Пригов, для которого Пушкин оставался вечным собеседником и вечной проблемой, заменил почти все эпитеты в романе на “безумный”, комментируя это в том духе, что лермонтовская традиция неистового романтизма в конце концов победила пушкинскую, более интеллектуалистскую и связанную с классицизмом» (с. 22).

Синий Карандаш в предисловии, которое он скромно называет «комментарием», объясняет устройство своей работы, а также предстоящую читательскую работу: здесь предлагаются три способа прочтения полученного текста (возможно, читатели найдут и другие), предоставляя возможность поэкспериментировать с каждым из них. Автор считает, что его онегинский блэкаут – «объект визуальной поэзии, где важны одновременно и визуальная, и поэтическая стороны» (с. 37).

Оборин едва ли не напрямую связывает обработку Синим Карандашом «Онегина» с тем, что «мы живем в состоянии постоянного, лихорадочного цензурирования, потери, порчи и стирания информации; в российском книжном мире 2020-х зачерненный Пазолини был только первой ласточкой» (с. 23–24). Поэтому, считает критик, «зачернение “энциклопедии русской жизни” – это и знак обеднения той самой жизни» (с. 24), а высказанные таким образом суждения Синего Карандаша он прямо называет «приговорами» (там же). Как тут не вспомнить школьные суды 1920-х.

Насчет особенностей современной ситуации спорить сложно, а вот с текстом Синего Карандаша, думается, дело сложнее – это еще и оценивающий жест, жест-суждение. При всей своей явной публицистичности это изящная работа со многими смысловыми уровнями; указывая за пределы литературы, она тем не менее в этих пределах остается.

Встраивая в текст умолчания (и подталкивая нас к размышлению о *поэтике умолчаний*), Синий Карандаш не уменьшает смысловых объемов текста, но наращивает их («Блэкаут состоит не только из того, что осталось невычеркнутым, но и включает на равных правах все вычеркнутое»,

с. 37), позволяет (даже заставляет – у этого искусства немалая принудительная сила) чувствовать отсутствие как важнейшую разновидность присутствия.

Жизнь тут не столько обедняется, сколько уходит вглубь, скрывается и концентрируется – до жгучих состояний. Блэкаут Синего Карандаша – концентрат пушкинского текста. В точном соответствии с указаниями автора цитировать надо вместе с зачерненными словами и строками, чтобы чувствовался объем – в том числе и давящий объем умолчаний, превосходящий высказанное.

Что ж? ██████████
сам ужас ██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
жизни ██████████
Лежит ██████████ необозрим ██████████
██████████
██████████
И все равно: надежда ██████████
Лжет детским лепетом своим. (с. 255)

Автор изыскивает в Пушкине даже современную лексику (вот уж воистину «наше все»):

теперь ██████████
██████████
он ██████████
██████████
клон ██████████
И ██████████
██████████
██████████
██████████
бот ██████████
██████████
души. (с. 337)

Иногда Синий Карандаш изымает из пушкинского текста всего одно слово, а некоторые фрагменты оставляет вообще нетронутыми:

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? – давайте их.
А где мы первые познашь
И мысли первые нашли,
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух (с. 349).

Синий Карандаш, работавший с максимально *полным* текстом «Евгения Онегина», включая все черновики, все отвергнутое как самим поэтом, так и современной ему цензурой – блэкаут и полнота не только не исключают, но едва ли не требуют друг друга, – объясняет это так:

«Включенные в эту версию романа части, изначально изъятые Пушкиным или не пропущенные цензорами, .. даются почти полностью и практически без закрытия блэкаутом. Это сделано для того, чтобы читатель мог увидеть ранее утаенное» (с. 42).

Укрывая одно, другое он, напротив, выводит на свет. Не явное ли это указание на то, что Пушкин, как и положено классику, умеет быть актуальным и без всякой обработки как в явных своих частях, так и в скрытых? И все же в этой книге он, пожалуй, лишь соавтор.

В том связанном, осмысленном тексте, который получился у автора при работе с пушкинским материалом, вообще на редкость много точных высказываний.

— [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
а [REDACTED] ад [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] нельзя [REDACTED]
Увидеть [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ? [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] — Хотя сейчас.
[REDACTED] (с. 150).

Что-то мне подсказывает, что соавтор – свое время так не воспринимавший, – это оценил бы.

Ольга Балла-Гертман

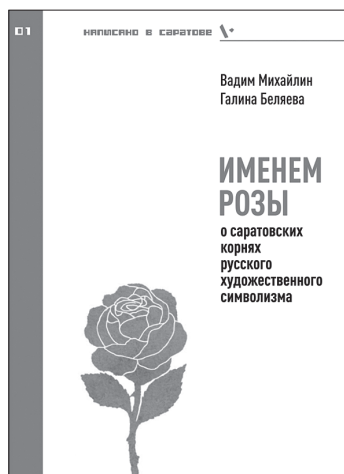
Именем розы. О саратовских корнях русского художественного символизма

Вадим Михайлин, Галина Беляева
Саратов: Культурный центр «Дом Гектора Баракки», 2025. – 82 с.

Название новой книги Вадима Михайлина и Галины Беляевой прозрачно намекает на заглавие романа Умберто Эко (1980) и его одноименной экранизации (1988). Аллюзия к книге «Имя розы» не случайна. Авторы, занимающиеся исследованиями символического и бессознательного культуры, сразу дают понять, что не чужды концепции Эко о культурном коде как структурной модели.

Речь в рецензируемой книге идет о том, как художественная выставка «Алая Роза» 1904 года в провинциальном Саратове стала одним из центральных знаков культурного кода эпохи русского модерна и как «цветок

символизма» раскрывается в России начала XX века. Говорится об этом увлеченно, компетентно, с разбором примеров и приемов символического языка культуры, с опорой на первоисточники и документы. Книга издана в серии «Саратовская крепость», посвященной краеведению, психогеографии и метафизике города.



Нельзя сказать, что главное событие, о котором рассказывает «Именем розы», стерлось из культурной памяти и его смысловой след неразличим. О саратовской выставке «Алая Роза», организованной совсем молодыми тогда художниками Павлом Кузнецовым и Петром Уткиным и демонстрировавшей «почти исключительно тех художников, которые впоследствии составили московскую символистскую школу»⁸, было подробно рассказано уже более полувека назад в отдельной главе диссертации Джона Боулта⁹. К 90-летию экспозиции была приурочена выставка «Становление русского живописного символизма» в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева¹⁰; к столетию – выставки, научная музей-

8 Bowlт J.E. *The "Blue Rose" Movement and Russian Symbolist Painting*. A Thesis Submitted for the Degree of PhD. University of St Andrews, 1972. Vol. 1. P. 132–133 (<https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/3703>).

9 Ibid. Vol. 1. P. 405; Vol. 2. P. 152.

10 Водонос Е.И. *К юбилею саратовской выставки «Алая роза»* // Он же. *Статьи и публикации*. Саратов, 2021. С. 406–411.

ная конференция и ряд публикаций¹¹. Каталог выставки посвящено исследование Марии Валяевой¹².

Такое внимание не случайно: Михайлин и Беляева называют «Алую Розу» – ни много ни мало – «прецедентным событием для масштабного явления, выходящего далеко за рамки Саратова: символизма в русском изобразительном искусстве» (с. 24). Здесь нет признаков преувеличения и «регионального патриотизма». Хотя авторы книги – саратовцы, они прекрасно разбираются в истории модернизма и постмодерна¹³ и оценивают выставку вполне беспристрастно.

Столь высокая оценка не нова. По словам исследователя «саратовской художественной школы» Ефима Водоноса, выставка «Алая Роза» заслуживает репутации «первого смотра сил нарождающегося символистского движения в русской живописи начала XX столетия»¹⁴. И хотя до сего дня провинциальная «Алая Роза» порой остается в тени своего московского продолжения – выставки «Голубая Роза» (1907) – и даже вовсе может не упоминаться либо называться вскользь в текстах по истории русского символизма¹⁵, волноваться по поводу исторической справедливости и лишний раз напоминать о приоритетности этого события уже не приходится. «Алая Роза» занимает достойное место в истории искусства.

Новизна книги Михайлина и Беляевой в том, что, во-первых, они убедительно показывают, как, казалось бы, малозначительное и далекое от столиц событие превратилось в один из ключевых сюжетов городской мифологии, а заложенные в нем

смыслы транслировались на протяжении более чем столетия и продолжают привлекать внимание вплоть до сегодняшнего дня. А во-вторых, «Алая Роза» рассматривается авторами гораздо шире – как поворотная точка «в развитии отечественного искусства Серебряного века», как начальный пункт всего русского модернизма, а чуть позже и авангарда.

Благодаря книге «Именем розы» давняя саратовская выставка становится ключевым событием, точкой отсчета, началом координат и – позволю себе метафору или даже каламбур – розой ветров отечественного искусства XX века. В геральдике и картографии «роза ветров» – традиционное обозначение основных азимутов створон горизонта, ориентир географических направлений. Такая путеводная звезда, отправной момент для векторов динамики русского искусства на протяжении последних более чем 120 лет – саратовская выставка «Алая Роза».

Михайлин и Беляева рассматривают только несколько векторов или лучей, задаваемых «Алой Розой». Первый – история русского символизма. Второй – российская судьба английского эстетизма и увлечения поэтикой Оскара Уайльда и Обри Бёрдсли. Третий – репрезентация заложенных в выставке «Алая Роза» визуальных идей и символов в творчестве и судьбе художника Павла Кузнецова, метафизике Саратова, в отечественном искусстве и культурной памяти в целом.

В первой главе рассказывается об удивительном случае в повседневной жизни

11 Выставка «Алая Роза» (http://saratov-kultura.ru/alaya_roza.html).

12 Валяева М.В. «Алая роза» в ракурсе столетия. Уникальный экземпляр каталога выставки // Собрание. 2004. № 2. С. 16–23.

13 Вадим Михайлин не только филолог и антрополог, но и переводчик, познакомивший российского читателя с такими авторами XX века, как Лоренс Даррелл, Гертруда Стайн и Джон Барт. Галина Беляева – искусствовед, автор статей о саратовских художниках. Вместе соавторы написали несколько книг.

14 Водонос Е.И. Указ. соч. С. 406–411.

15 Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998; Символизм в России. 1890–1930. Из частных коллекций. Каталог выставки / Сост. В.А. Дудаков, М.И. Зеликман, М.В. Мишина. М.: Советский фонд культуры, 1990.

поволжского города, неожиданно ставшем знаковым событием для всей русской культуры и определившем ее новые смыслы. Авторами подробно разбираются возможные причины выбора «романтически настроенными молодыми художниками, стоявшими у истоков русского символизма», образа алой розы – одного из наиболее «частотных и устойчивых объектов символизации» – для наименования своей первой выставки. Вывод делается в пользу Оскара Уайльда с его установкой на принципиальную антипрагматичность и иррациональность искусства, заявленной в сказке «Соловей и роза», русский перевод которой был опубликован в Ростове-на-Дону за несколько месяцев до саратовской выставки и был хорошо знаком ее организаторам благодаря одному из участников и однокурснику Кузнецова и Уткина по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества Мартиросу Сарьяну.

Помимо сугубо эстетических оснований, и более того – вопреки им, выставка имела и вполне прагматическую цель, ставящую ее организаторов в один ряд с гениями персонального брендинга в искусстве XX века: «самопозиционирование через публичную провокацию и скандал». Эта модернистская практика, как и использование концептуальных «говорящих» названий, в русском искусстве может и должна отсчитываться от выставки «Алая Роза». Испытывающие разочарование и обиду в отношении городского общественного мнения и местной прессы (после истории с запретом росписей придела Казанской церкви в Саратове, исполненных Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным и Кузьмой Петровым-Водкиным, и из-за последующей публичной травли) художники «громко хлопнули дверью», покидая родной город для того, чтобы вскоре снискать себе

настоящую славу – на выставке 1907 года в Москве и далее «в стране и мире».

«Московская выставка [“Голубая Роза”] стала событием уже общероссийского масштаба, позволившим принять как данность тот факт, что русский художественный символизм сформировался в качестве полноценного художественного явления: с претензией на формирование собственного знакового лексикона, совместимого с европейскими символистскими традициями и охотно играющего перекличками, но все же вполне самобытного» (с. 37).

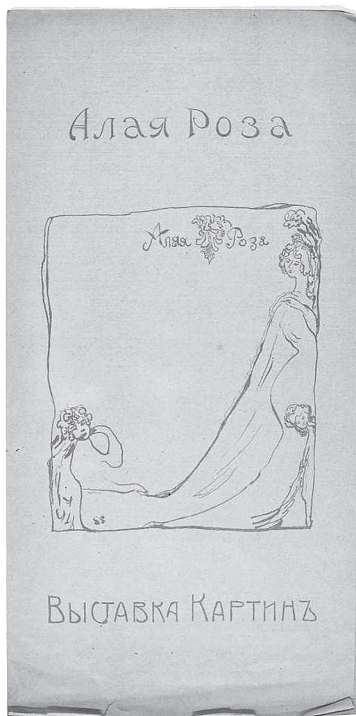
Признавая значение и системообразующий смысл «Голубой Розы» для русского символизма и модернизма, авторы отдают приоритет в этой истории ее саратовской предшественнице и показывают, в том числе на примере динамики смыслов и визуальных идей, что без первой не было бы второй – или по крайней мере ее история была бы менее яркой и интересной. В истории русского авангарда Андрея Крусанова¹⁶ «Алая Роза» упоминается вскользь, но именно с ее участников – Кузнецова, Уткина, Николая Сапунова, Сергея Судейкина и других их соучеников по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества – там начинается рассказ о «боевом десятилетии» в развитии новаторского движения в русском искусстве.

Другой азимут, задаваемый «Алой Розой» – история русского «бёрдслеизма», – обозначен в книге его вершиной: обложкой каталога выставки, выполненной Сергеем Судейкиным. Буклет – крайне редкий памятник книжного искусства, сохранившийся чуть ли не в единственном известном экземпляре в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина¹⁷, поступив туда из собрания

16 Крусанов А.В. *Русский авангард: 1907–1932 (исторический обзор): В 3 т.* М.: Новое литературное обозрение, 2010. Т. I. Кн. 1.

17 Благодарю сотрудников музея Юлию Матвееву и Олега Антонова, а также исследователей творчества Судейкина и художников «саратовской школы» Ирину Меньшову и Елену Савельеву за помощь и предоставленную информацию.

историка и художественного критика Павла Эттингера в 1950 году¹⁸. На обратной стороне – надпись карандашом (возможно, сделанная владельцем): «Автолитография С.Г. Судейкина Саратов, 1904». Авторство подтверждает и подпись художника: двойной латинский инициал SS в нижнем левом углу рисунка обложки.



Сергей Судейкин. Обложка каталога выставки «Алая Роза». 1904.

В книге «Именем розы» подробно разбирается символическая структура рисунка, схема его построения, обсуждаются смыслы, которые он передает зрителю. По словам Михайлина и Беляевой, обложка Сергея Судейкина – «самым очевидным образом выполненная в манере Обри Бёрдсли, [...]»

тесно ассоциировалась с творчеством “главного декадента Европы”» (с. 13). О влиянии Бёрдсли на Судейкина писали и раньше: Сергей Маковский, считавший, что стиль Бёрдсли «отражают почти все графические произведения Судейкина»; театральный критик Александр Рыков, отмечавший в сценографии Судейкина «замену изысканности костюмов чувственностью» и «толкование гротесковых образов в манере Бёрдслея»; Дора Коган, особо выделявшая иллюстрации Судейкина к изданию драмы Мориса Метерлинка «Смерть Тентажиля» (1903) с их «“стильностью” в интерпретации символа» и «ярко выраженным, всепоглощающим линейным началом, с акцентом на арабесковую изощренность в духе Бёрдсли»¹⁹.

Оговорки заслуживает только «очевидность» подражания Судейкиным манере Бёрдсли в каталоге «Алая Роза». Влияние английского иллюстратора действительно угадывается, но на его стиль похожа не сама графическая манера Судейкина – линии рисунков Бёрдсли гораздо более точны, сухи, изящны и виртуозны, в то время как обложка Судейкина сделана «небрежно», «в подчеркнуто эскизной манере», по словам Боулта, «довольно порывистой», или «бессистемной» (*desultory fashion*), – в духе общей «текучести» (*fluidity*), свойственной художникам «Голубой Розы»²⁰. Если Судейкин и цитирует Бёрдсли, то делает это весьма иронично. Дух Бёрдсли присутствует в обложке «Алой Розы» скорее в самой композиции с ее невидимыми, но подразумеваемыми треугольниками, вписанными в квадрат рамки, в структуре семантики символистской образности Судейкина, в свободном (негативном) пространстве,

18 Судейкин С.Ю. *Выставка картин «Алая роза». Каталог. 1904.* Номер в Госкаталоге: 25365703. Номер по КП (ГИК): ГМИИ КП-79953/99. Инвентарный номер: ГРП-810. Местонахождение: ФГБУК ГМИИ имени А.С. Пушкина.

19 Маковский С.К. С.Ю. Судейкин // Аполлон. 1911. № 8. С. 10; А.Р. [Рыков А.В.]. *Москва. Камерный театр. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Комедия в 5 действиях Бомарше // Любовь к трем апельсинам.* 1915. № 4-7. С. 200. Коган Д.З. *Сергей Юрьевич Судейкин. 1884–1946.* М.: Искусство, 1974. С. 11.

20 Bowlт J. E. *Op. cit.* P. 133.

в характерных позах, фигуре и движении женщины, уходящей за границу рисунка и в последний момент оглядывающейся назад. Если Бёрдсли послужил в России своего родом символом английского эстетизма, стиля журнала «The Studio» и модерна в целом, то Судейкин дает свою интерпретацию и этого модного увлечения, и ситуации с выставкой как таковой. Дама оглядывается назад, покидая поле листа. Художники «Алой Розы» тоже еще могут в последний раз посмотреть вспять, но уже устремлены к новым горизонтам.

В последнее время наследию Бёрдсли в русском графическом искусстве уделено достаточно большое внимание. Это и выставка в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина²¹, и двухтомный выпуск «Русская графика начала XX века» международного журнала о русской культуре «Experiment»²², во многом посвященный этой теме, и многочисленные статьи. Книга «Именем розы» напоминает, что в истории «русской славы» Обри Бёрдсли было место не только объединению «Мир искусства», но и саратовской традиции, где свою роль сыграли и участники «Алой Розы» Судейкин, и «Бёрдсли из Москвы» Николай Феофилактов, и немного позже «саратовский Бёрдсли» – Сергей Лодыгин²³, и не менее очевидные в своих пристрастиях молодости приятели Лодыгина Владимир Милашевский и Николай Кузьмин, также непосредственно или косвенно связанные с Саратовом.

Особое внимание авторы книги «Именем розы» уделяют самоидентификации художников, вошедших в искусство благодаря выставке «Алая Роза», пониманию ими собственного творчества и занятия искусством в целом как экзистенциального портала в иные, горние духовные миры – выхода из «голубой тюрьмы» (пользуясь выражением Афанасия Фета в трактовке Валерия Брюсова) обыденности, рациональности и материальной повседневности.

Михайлин и Беляева прослеживают путь от «Алой Розы» к «Голубой» и далее – в первую очередь на примере жизненного пути и динамики образов иконографии одного из лидеров этого художественного объединения Павла Кузнецова. Глава о символических букетах и фонтанах в творчестве Кузнецова – лишь краткое изложение нескольких работ авторов, посвященных этому живописцу²⁴, но и оно дает наглядное представление о той тактике эскапизма, иронии и маскируемой, но последовательной приверженности принципам символизма, которую применял художник, чтобы явно не противоречить, но при этом внятно противостоять советскому дискурсу и идеологическому давлению.

Самый яркий пример – ироническое переосмысление, или, как называют этот прием Михайлин и Беляева, «ерническая трансмутация» главного знака символизма – мистической голубой розы – на картине Кузнецова «Капуста» (1932), написанной накануне ликвидации всех независимых

21 Оскар Уайльд. Обри Бёрдслей. Взгляд из России. Каталог выставки. М.: ГМИИ имени А.С. Пушкина, 2014.

22 Experiment: A Journal of Russian Culture / Эксперимент: журнал русской культуры. 2020. № 26; 2021. № 27. Одним из трех редакторов этих выпусков посчастливилось быть автору настоящей рецензии.

23 См.: Голубинов В.В. Художник Сергей Лодыгин: между нью и машиной // Experiment: A Journal of Russian Culture / Эксперимент: журнал русской культуры. 2021. № 27. С. 180–223; Он же. Возвращение из Затерянного мира. Художник Сергей Лодыгин // Connaissance. 2019. № 2. С. 64–89; Голубинов В.В., САВЕЛЬЕВА Е.К. Исчезающий Лодыгин // Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования. 2013. № 9(109). С. 24–45.

24 Михайлин В.Ю., Беляева Г.А. Букет как фонтан: о возможной семантике цветов в живописи и выставочных проектах Павла Кузнецова // «Язык цветов» и цветы в языке, литературе и культуре / Отв. ред. А.И. Смирнова. М.: Зерцало-М; МГПУ, 2024; Они же. Благо, которое нельзя утратить: символическая тайнопись Павла Кузнецова // Умолчание. Интерпретация культурных кодов. Саратов: Наука, 2023. С. 34–120; Они же. Символический язык Павла Кузнецова: материалы к словарю // Неприкосновенный запас. 2023. № 1(147). С. 89–120.

литературных и художественных объединений в угоду создания единых творческих союзов. Работа содержит не только образ предельно крупного голубого кочана, похожего на розу, на переднем плане, но и изображение крестьянки, понукающей хворостиной свою (или скорее колхозную) упрямую корову и пытающейся, видимо, как-то ее приструнить. Антитеза розы и капусты, известная со времен одноименной басни Михаила Хераскова (1764), а то и ранее, наглядно используется здесь Кузнецовым, чтобы выразить свое отношение к новому повороту в политике управления искусством в 1930-е.

В последней главе книги Беляева и Михайлин обращаются к региональной мифологии родного для авторов города. Они рассматривают роль и наследие «Алой Розы» в местном культурном контексте в качестве знакового события, в своей оценочной динамике прошедшего путь от жупела «формализма», замалчиваемой лакуны, вытесненного мотива в бессознательном провинциальной жизни до возвращения в контекст мифа о «саратовской художественной школе» как своего рода недостающего звена для обретения «интеллигентским мироощущением» утраченного, но взыскиваемого града (с. 71).

Катализатором такого обновленного интереса стала организованная в 1991 году Владимиром Мошниковым выставка «Белая роза», которая вызвала полемические отклики саратовских искусствоведов Эмилия Арбитмана и Ефима Водоноса. Сейчас, спустя годы, благодаря трем «Розам» – «Алой», «Голубой» и «Белой» – понятие «саратовская художественная школа» стало устойчивым конструктом, в последнее время не только востребованным, но, кажется, и модным (в частности в 2022 году в московском Музее русского импрессионизма прошла выставка «Миражи. Саратовская школа»).

25 Приношу глубокую благодарность Игорю Кобылину – за бережную и внимательную редактуру – и Анатолию Корчинскому – за прояснение и уточнение многих смыслов.

Выставка 1904 года «Алая роза» – символ любви ее участников к искусству и стремления к обновлению его художественного языка. Книга «Именем розы» – достойный знак признательности ее авторов художникам «саратовской школы» и их коллегам по пути русского символизма и модернизма в целом.

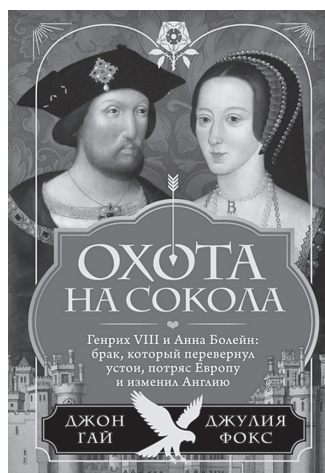
Виктор Голубинов

«САМАЯ МОДНАЯ ТЕМА АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИИ»: АННА БОЛЕЙН, ГЕНРИХ VIII И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ²⁵

Охота на сокола. Генрих VIII и Анна Болейн: брак, который перевернул устои, потряс Европу и изменил Англию

Джон Гай, Джулия Фокс

М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2024



Начну с неочевидного: книга, которая по всем меркам отвечает критериям академической научности (начиная со ссылок и примечаний и заканчивая использованием новых источников), по-русски выходит как

научно-популярная. Это говорит о популярности прежде всего темы: личная история Генриха VIII до сих пор интересна русскому читателю, а последний – и весьма примечательный – фильм о ней вышел в 2023 году («Игра королевы» Карима Аинуза с Алисией Викандер и Джудом Лоу). Одно из объяснений лежит на поверхности – так, например, от Ивана Грозного, которого нередко сравнивают с Генрихом, почти не дошло личных источников, проливающих свет на его отношения с женщинами. Между тем в Англии сохранились семнадцать писем короля только к одной Анне Болейн. Детализированность новой версии знаменитой истории, несмотря на научную фундированность, сближает ее с романом: к примеру, авторам удалось установить почти всех соседей детства и юности Анны, чтобы проследить, как они повлияли друг на друга и какие роли сыграли при дворе.

Генрих и Анна – самая популярная тема для писателей и режиссеров, создающих произведения о Тюдоровской эпохе, а вслед за ними – для читателей и зрителей. С точки зрения теории истории перед нами настоящее «практическое прошлое»²⁶: оно слишком живое, чтобы отойти целиком в область академических исследований. Его нагружает смыслами, ценностями и проекциями практически каждое новое поколение, а сфера интерпретаций разделяется между строгой наукой и художественными практиками вплоть до сериалов. Сюжет о Генрихе и Анне может быть отображен в самых разных жанрах: это и любовная, и политическая, и религиозная, и культурная, и дипломатическая история. На некоторых ее аспектах, подсвеченных книгой «Охота на сокола», я и остановлюсь.

Книга написана сразу в нескольких жанрах в соответствии с тем, как Джон Гай и Джулия Фокс видят сюжет рассказываемой ими истории. Традиционная и крайне роман-

тизированная схема отношений Генриха и Анны такова: король влюбляется в прекрасную фрейлину своей королевы, она требует официального брака, Папа Римский не дает согласия на развод, Генрих выходит из подчинения Риму и первым из европейских королей начинает реформацию. «Охота на сокола» эту схему сильно усложняет – если не отменяет вовсе. Генрих и Анна на протяжении всей истории своих отношений играли определенные социальные роли, как выраставшие из феодализма, так и выламывавшиеся из него. Этой двойственности в книге уделяется немало внимания, и я возьму ее за отправную точку.

Генрих, король Артур и религия

Генрих и Анна были людьми переходной – если не переломной – эпохи, и тем интереснее очертить ее контуры. Переходность ощущалась уже в том, что Генрих был всего вторым королем новой династии – Тюдоров, – и для легитимации своей власти постоянно искал связь с традицией. Один из самых показательных примеров – ориентация короля и его эпохи на артурианский миф. В 1485 году вышла в свет «Смерть Артура» сэра Томаса Мэлори – самая полная артуриана на английском языке к XVI веку. Именно предания о короле Артуре, как считают авторы «Охоты на сокола», служили моделью поведения для Генриха – его самоидентификации, отношений с двором и близкими людьми, в том числе с Анной. Грустная ирония заключается в том, что книга о самом средневековом короле была издана на излете эпохи, в период «осени Средневековья», но все равно оказала огромное воздействие на Генриха, который прочитывал ее отнюдь не в оптике Возрождения. Вот яркий пример его увлечения артурианой:

26 О понятии «практического прошлого» см.: Уайт Х. *Практическое прошлое*. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

«В Большом зале Уинчестерского замка времен Норманнского завоевания Генрих с гордостью показал массивный деревянный круг, который, по преданиям, служил столешницей того самого Круглого стола короля Артура и его рыцарей. Впоследствии, став королем, Генрих прикажет реставрировать эту столешницу» (с. 57).

А вот как через призму артурианы современники могли воспринимать адресованные Анне обвинения в супружеской неверности:

«Бытует мнение, что предполагаемая связь Норриса и Анны могла напомнить [Генриху] о романе между сэром Ланселотом и леди Гвиневрой в “Смерти Артура”, при этом Генриху в этом случае, видимо, отводилась роль обманутого мужа, короля Артура» (с. 564).

Желание подражать королю Артуру лежало, возможно, и в попытке заключить первый общеевропейский мир – Лондонский договор 1518 года, оказавшийся, к сожалению, недолговечным. Но в том образе, который сам для себя сконструировал Генрих, не нашлось места для милосердия – ни для его жен, ни для его приближенных. И вот здесь, кажется, он и правда предстанет королем Нового времени, а не Средних веков. Один из ключевых выводов из «Охоты на сокола»: Генрих был автократом, который во многом создавал закон для себя. И в этом смысле разрыв с католическим Римом и отсутствие милосердия в деле Анны Болейн, в общем-то, лежат в одной плоскости.

Почти навязчивое желание Генриха не жить во грехе кажется совершенно искренним – и оно сыграло роль в том, с какой безапелляционностью он настаивал на разводе с Екатериной Арагонской:

«Епископ де Грамон впервые зародил в нем сомнения по поводу законности его брака с Екатериной и легитимности его дочери как наследницы, намекая на то, что такой брак может считаться инцестом, поскольку Генрих женился на вдове своего умершего

брата. Де Грамон спросил его, можно ли считать разрешение на брак, которое дал папа Юлий II в наспех составленной буллы, достаточным основанием для того, чтобы пойти против законов церкви?» (с. 218).

Фактор глубокой, хотя и необычной религиозности Генриха надо учитывать наравне с другими: желанием иметь наследника и возможным стремлением реформировать церковь. Впоследствии это обернется против самой Анны, когда король будет думать, что его новая жена согрешила против него. И авторы охотно это признают:

«Томас Кромвель ознакомил с обвинениями короля, и тот приказал установить наблюдение. “Тайные агенты” следили за тем, что происходило в покоях Анны, слуги были подкуплены, а Кромвель доносил всю появлявшуюся у него информацию королю. Он сообщил Генриху, что его супруга танцевала и развлекалась с одним джентльменом из близкого окружения Генриха и что у него есть свидетели, которые видели, как она целовалась со своим братом. “Они также располагают письмами, в которых она сообщает ему [своему брату Джорджу] о том, что беременна”» (с. 488).

Судя по всему, Генрих действительно верил, что Анна ему изменяет, а то, что она делала это со своим братом, только усугубляло в глазах короля ее грех. В конце концов, речь шла об оскорблении его величества, как о том свидетельствовала суровая латынь приговора:

«За оскорбление государя нашего, Его Величество короля, и совершение государственной измены против означенной особы, в коем преступлении Вы были изобличены, закон королевства предусматривает смертную казнь, и посему Вам выносятся следующий приговор: Вы будете казнены через сожжение здесь, на Тауэр-грин, или, если на то будет воля короля, через отсечение головы, о чем станет известно в дальнейшем» (с. 548).

Будучи королем переломной эпохи, Генрих поистине оставался одним из последних рыцарей – и даже считался одним из лучших турнирных бойцов своего времени. Но в роль рыцаря он вкладывал иной, символический, смысл, отсылающий к одному из распространенных «сценариев власти»²⁷. Несколько раз он встречался с Анной именно в контексте «рыцарского сценария»: на турнирах или театрализованных представлениях осад (соревнование шло, разумеется, за обладание аллегорической Любовью). Последние постепенно вытесняли классические турниры, уходящие в прошлое: рискованный поединок заменялся театральной постановкой с заранее известным – часто аллегорическим – сюжетом и прописанными ролями. Это действительно – самая поздняя «осень Средневековья».

На этих представлениях Генрих вел себя именно как рыцарь, а не как рыцарь-король²⁸ – и целая культурная пропасть отделяет его от Ричарда Львиное Сердце. Различие в том, что рыцарь-король, как правило, лично принимает участие в боевых действиях, предпочитая их турнирам. Так, несмотря на «позднее» для Средневековья время появления «Смерти Артура» Томаса Мэлори, герои этого романа почти не участвуют в турнирах, а сражаются в поединках насмерть.

«Одно из представлений действительно станет самым зрелищным за все время царствования Генриха и последним столь масштабным рыцарским турниром в истории. Группа молодых придворных начала подготовку еще в конце октября. Воодушевленный их планом, Генрих приказал распорядителю празднеств Ричарду Гибсону соорудить потешную деревянную крепость с башнями

и турелями на поле для турниров в Гринвиче, точно соблюдая все пропорции... Тот факт, что Гарри Перси сначала было разрешено “участвовать в штурме крепости”, а потом отказано в этом, позволяет предположить, что Анна была среди присутствующих» (с. 179).

И даже здесь встреча короля с его будущей возлюбленной происходит как бы случайно, то есть по правилам куртуазного действия.

Политический контекст эпохи тесно связан с культурным – «сценарии власти» по мотивам преданий о короле Артуре и рыцарях Круглого стола оказались возможны после выхода в 1485 году «Смерти Артура» сэра Томаса Мэлори: мы не знаем, читал ли ее будущий король, «да это и не так уж важно, поскольку у Генриха был доступ к многочисленным рукописным изданиям историй о короле Артуре, которые хранились в библиотеке его отца в Ричмондском дворце» (с. 43). Важнее был сам факт печатного распространения текста: теперь у многих придворных были его экземпляры, и они могли непосредственно оценивать усилия новой династии по легитимации через артуриану. Старшего брата Генриха звали Артуром, о неслучайности этого говорит то обстоятельство, что среди представителей королевской семьи такое имя до династии Тюдоров носил только сын Джеффри Плантагенета, племянник Ричарда Львиное Сердце и Джона Мягкий Меч (это прозвище важнее для контекста, чем устоявшееся у нас «Безземельный», так как намекает не только на импотенцию, но прежде всего на бессилие в битве, что для короля-рыцаря было унижительно).

27 Подробнее о понятии «сценариев власти» см.: УОРТМАН Р. *Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т.* М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2004.

28 Подробнее о королях-рыцарях см. ряд биографий английских монархов и их подданных: ДЖОНС Д. *Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию.* М.: Альпина нон-фикшн, 2021; ПЕРНУ Р. *Алиенора Аквитанская.* М.: Эксмо, 2025; ЭПЛИ Д. *Династия Плантагенетов. Генрих II. Величайший монарх эпохи Крестовых походов.* М.: Центрполиграф, 2014; ОН ЖЕ. *Иоанн, король Англии. Самый коварный монарх средневековой Европы.* М.: Центрполиграф, 2021; ЭСБРИДЖ Т. *Рыцарь пяти королей. История Ульмана Маршала, прославленного героя Средневековья.* М.: Центрполиграф, 2016.

Новая династия легитимирует себя через аргуровскую традицию, между тем как королевская власть до этого была вполне самостоятельна. Массовая гибель рыцарства в войнах Алой и Белой роз, особенно в потрясающей воображение современников битве при Таутоне 29 марта 1461 года, где, по некоторым данным, нашло свою смерть около 1% населения Англии, приводит к замещению представителей этого сословия новой, тюдоровской знатью. И «Охота на сокола» показывает, что Анна во многих отношениях шла навстречу этим новым веяниям.

С точки зрения исполнения «сценариев власти» Анна уступает Генриху: во многих проявлениях своей королевской воли она остается средневековым человеком. Джон Гай и Джулия Фокс приводят интересный эпизод, который заставляет вспомнить «Королей-чудотворцев» Марка Блока – Анна раздаёт противоэпилептические кольца:

«Вместе с этим письмом Анна послала кольца от судорог с пояснением: “Я прошу Вас раздать их тем, кого Вы сочтете наиболее достойными этой милости”, “заверьте их в том, что я желаю угодить им, насколько это в моей власти”. Кольца, использовавшиеся как средство против судорог и эпилепсии, были специально изготовлены Корнелиусом Хейесом и получили благословение короля в Великий четверг на Страстной неделе. Обряд благословения колец заключался в том, что король клал их у изножья распятия и касался их рукой. Традиционно считалось, что королевское прикосновение придает кольцам целительную силу. По обычаю, кольца раздавала королева, и Анна, взяв на себя функцию Екатерины, подчеркнула таким образом свою значимость» (с. 274).

Остается только гадать, верила ли сама Анна в чудодейственную силу колец от судорог – или это уже был тонкий политический ход, рассчитанный на то, чтобы ее воспринимали в качестве полноценной королевы. В любом случае это не было прос-

тым следованием потерявшему смысл ритуалу (от которого Анна готова была бы отказаться), несмотря на ее, казалось бы, рациональность, особенно в противостоянии с католицизмом. В этом эпизоде четко видна граница в положении Анны как королевской возлюбленной и как королевы: кольца не имеют целебной силы, пока их раздаёт некоронованная особа. Здесь пролегал предел власти Анны, так как на исполнение всех функций королевы она не могла рассчитывать без восшествия на престол. Это давало ей право и верить в целительную силу колец, которая у них появится, как только к ним прикоснется ее королевская рука.

Еще одной феодальной стратегией, которая, однако, уже обнаруживала новые, нефеодальные, свойства, была установка на семейственность. Как только появилась перспектива оказаться при дворе, семья Анны (и шире – весь ее род) прикладывала огромные усилия для возвышения всех своих членов, без разделения на более или менее успешных, хотя небольшое предпочтение, кажется, отдавалось скорее юношам, чем девушкам. Вслед за тем уже достигшие какого-то положения отдельные члены семьи должны были заботиться о ней в целом.

Это дуальная стратегия во многом опиралась на еще средневековые практики линьяжей, включавших в вассальную службу всех живых на данный момент представителей рода. Однако стоило линьяжам вырасти хотя бы до двух полных поколений (напомню, что родители Анны и ее брата Джорджа пережили их обоих), как это вызвало недовольство у старой английской знати. Кроме того, возвышение рода Болейнов было слишком тесно связано с фигурой короля, который в прежнюю эпоху вряд ли мог так быстро возвысить целую семью, едва ли не идя наперекор феодальной иерархии. Таким образом, возвышая Анну до статуса королевы, Генрих подчеркивал и собственную власть.

Совсем иначе «Охота на сокола» рисует и увлечение Анны Францией. Как правило, его сводили только к отдельным культурным заимствованиям: в частности, Анна была первой столь высокопоставленной особой, которая «предпочитала носить более модный арселе, или французский чепец» (с. 30), чем так называемый тюдоровский гейбл. Опять же это дополнительный повод поразмышлять об «осени Средневековья», когда на смену международной куртуазной моде, еще блиставшей на последних рыцарских турнирах, приходят национальные оттенки. По крайней мере кажется, что именно так – не без предубеждения – воспринималась англичанами «французскость» Анны.

Однако Джон Гай и Джулия Фокс раскапывают эту историю куда глубже. В главах, посвященных пребыванию Анны при французском дворе, они убедительно показывают, что могли существовать весьма тесные интеллектуальные связи между ней и Жаком Лефевром д'Этаплем, «который считается зачинателем евангелической Реформации во Франции» (с. 125). Даже если Анна не встречалась лично с ним и его ближайшими последователями, она знала о его идеях благодаря кружку королевы Клод, где новым веяниям оказывали покровительство. И трудно уйти от впечатления, что, к примеру, в таком небольшом отрывке кратко изложена «частная» программа английской реформации:

«Веру следовало искать не в выдуманных историях о чудесах или ритуалах, таких как традиционное паломничество и поклонение святыням, но в чтении Евангелия и посланий святого Павла. Не соглашаясь с постулатом церкви о том, что только с благочестивых делах лежит путь к спасению, они [сторонники евангелической Реформации. – В.М.] утверждали, что гораздо важнее добрые помыслы и внутренние мотивы того, кто приносит дары» (с. 127).

Таким образом, уже к своему знакомству с Генрихом у Анны вполне могли быть далеко не ортодоксальные религиозные взгляды, только усиленные католическим сопротивлением, сложившимся вокруг Екатерины Арагонской.

Еще один «французский» сюжет связан с вовлечением многих членов рода Болейнов в отношения с французским королевским двором – и, шире, вообще в отношения между Англией и Францией в сложном контексте европейской политики XVI века. Гай и Фокс показывают взаимозависимость между профранцузской дипломатией и возвышением семьи Болейнов: в этом смысле Анна выступала настоящей «мягкой силой» своего времени, так как, с одной стороны, «представляла» Францию при английском дворе, а с другой – могла рассказать много полезного для англо-французских переговоров о политике своей второй родины. Укрепление отношений Англии с Францией стало одной из причин взлета Болейнов, а их падение послужило среди прочего переориентации Генриха на Испанию и Священную Римскую империю.

«Охота на сокола» Джона Гая и Джулии Фокс на долгое время ставит многоточие в одной из главных личных историй Англии. *Last but not least*: книга прекрасно написана и переведена и читается, как и подобает ее сюжету, практически на одном дыхании.

Рискну подвести промежуточный итог: история Генриха и Анны, несмотря на огромную временную дистанцию, до сих пор служит источником «практического прошлого», то есть может быть использована в целях, весьма далеких от (около)академической историографии. Нарративы о ней бывают романтическими, политическими, дипломатическими и даже религиозными – и по-прежнему вызывают споры. Даже новое художественное толкование этой истории порождает конфликт интерпретаций – самый, пожалуй, яркий пример телесериал



2021 года, где Анну Болейн играет темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Переходная эпоха: версия Хилари Мантел

Размышляя об удивительной истории Генриха и Анны, нельзя не коснуться еще одного текста, который, к сожалению, прошел в России почти незамеченным, несмотря на блестящий перевод. Речь идет о трилогии Хилари Мантел «Вулфхолл», «Введите обвиняемых» и «Зеркало и свет»²⁹. Посвящена она Томасу Кромвелю – человеку, бесконечно недооцененному в российской историографии (что, впрочем, понятно: его оттеснила в сторону история Генриха и Анны), которого сами англичане считают главным проводником политики национальной Реформации. Общий акцент на переходном контексте эпохи, о котором я писал выше, делает сравнение уместным: Томас Кромвель, каким его изображает Хилари Мантел, также, будучи плоть от плоти своего времени, парадоксально его опережает.

Он предстает человеком, успевшим побыть и наемником в Итальянских войнах между Испанией и Францией (и еще половиной Европы), и банкиром, обучавшимся финансовым операциям в Италии. Он говорит на нескольких языках, открыт идеям Реформации – и даже как будто знаком с «Государем» Никколо Макиавелли. Хилари Мантел наделяет своего героя слишком уж необычными чертами: он так хорошо знает интеллектуальный климат Европы своей эпохи, что кажется, будто он смотрит на нее с исторической дистанции. Однако выглядит это вполне правдоподобно. Все три романа написаны в настоящем времени: Томас Кромвель как будто вырван из истории, он не оглядывается на прошлое

и не заглядывает в будущее. При этом сам канцлер казначейства описан в третьем лице, только как «он» – это, конечно, сблизает его с Юлием Цезарем, который так же писал о себе в «Записках».

Возможно, перед нами образчик исторического презентизма, поскольку автор придает действиям и мыслям героя собственную историческую логику, так как знает, чем в итоге все обернется. Ведь иначе сложно объяснить бурную деятельность Томаса Кромвеля по реформированию английской церкви и утверждению еще более сильной королевской власти. Его поступки выглядят не как ситуативные решения, а как стратегические проекты, реализуемые ввиду исторической необходимости. Нарратив Хилари Мантел анахронически привносит это осмысление в описываемую эпоху.

Но как исторически непротиворечно можно определить ту точку, относительно которой Томас Кромвель, как и Анна Болейн, опережал свое время? В чем его сознание было инновационным, а в чем традиционным? Где он исторически прозорлив, а где слеп? Историки скажут, что и Реформация, и усиление абсолютизма были закономерными процессами XVI века. Но это не приблизит нас к разгадке поведения Кромвеля. Как, например, канцлер казначейства умудрился не разглядеть собственной участи в падении Томаса Мора, коему и сам немало способствовал? Хилари Мантел чутко фиксирует эту непоследовательность сознания своего героя.

С одной стороны, никаких «феодальных» идей об ограничении королевской власти у Кромвеля уже нет, он борется с любым несогласием среди английской знати, что, кажется, превосходит политическое воображение раннего Нового времени с его представлениями о неограниченном суверенитете. С другой стороны, Кромвель соблюдает все ритуалы традиционной иерархии,

29 МАНТЕЛ Х. *Вулфхолл, или Волчий зал*. М.: Азбука-Аттикус, 2020; Она же. *Введите обвиняемых*. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2020; Она же. *Зеркало и свет*. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2021.

он классический «вассал» и знает, что в любой момент может потерять расположение короля – что в итоге и случилось. Как и судьба Анны Болейн, одним из главных обвинителей которой он был, его трагический финал доказывает, что в переломную эпоху он просто слишком рано решил по-рвать с уходящим в историю феодальным порядком.

Анна, Франция и религия

Сложность исторического воображения современного романиста в чем-то резонирует с тем, как свои материал и методологию проблематизируют историки. Попробуем сопоставить их оптики и вернемся к «Охоте на сокола». Какое место в истории зарождения современного культурно-политического сознания занимала Анна? В контексте «осени Средневековья» она попыталась быть первой европейской королевой с собственным уникальным культурным кодом. Особенно хорошо это видно по контрасту с Екатериной Арагонской, для которой, кажется, не стоило особых усилий стать той англичанкой, какой ее хотели видеть Генрих и его придворные.

Анна же – и авторы постоянно это подчеркивают – была не только носительницей духа французского Ренессанса, но и, как уже упоминалось, представляла французскую моду при английском дворе. «Галлофильство» Анны не было оценено по достоинству, ведь Генрих был всего лишь вторым королем из новой династии и нуждался в такой идентификации, которая связывала бы Тюдоров прежде всего с английской исторической традицией. Анна же шла гораздо дальше в своей религиозной политике: именно во Франции при дворе королевы Клод она могла впервые усомниться в чудодейственности мощей святых. (При том, что в чудесную силу колец от судорог она, кажется, продолжала верить!)

Но главным было особое отношение к религиозным вопросам со стороны королевской власти, которая не только брала на себя роль судьи, но, что важнее, выступала примирителем враждующих партий. (Впрочем, увы, не всегда: Франциск I, муж «ренессансной» королевы Клод, остался последним королем из династии Валуа, который мог находить компромисс между католиками и гугенотами, но Анна, разумеется, не могла об этом знать.) И есть какая-то трагическая ирония в том, что будущий едва ли не главный обвинитель Анны, Томас Кромвель, также начинает кампанию по уничтожению мощей и закрытию монастырей в Англии.

С Анной Болейн символически связано и рождение великого английского флота.

«[Увидев, что] жители Нанта преподнесли Франциску настольное украшение из серебра с позолотой в виде корабля, символический смысл которого заключался в том, что подданным короля не страшны никакие бури, пока у руля стоит такой кормчий, как он, Анна подарила Генриху такой же кораблик, только поменьше, украшенный “изящным бриллиантом”, на борту которого стояла одинокая барышня, дрожащая под порывами штормового ветра”. Смысл презента был прозрачен. Генрих тотчас написал письмо, в котором поблагодарил ее за чудесный подарок, назвав его на французский манер *etrenne*, и восхитился не только ее вкусом, но и “изящным замыслом и той смиренной покорностью, которую Вы проявили с присущей Вам добротой”» (с. 210).

Символика этого дара крайне интересна. Корабль можно уподобить государству, кормчего – королю, а вот одинокая барышня у руля вполне может перекликаться с одним из образов Девы Марии – «Звезды морей». Тут мы вновь сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, Анна ассоциирует себя с *Maria Stella Maris* – традиционно католическим символом, с другой, стремится стать у руля и, оказавшись по ту сторону конфессионального спора, испол-

нять роль третейского судьи между католиками и протестантами. Но главное в этом контексте, что этот кораблик стал как бы предвестником английского флота, и в таком качестве его сохранила Елизавета I. Мы видим, что исследователи Джон Гай и Джулия Фокс, как и романистка Хилари Мантел, воссоздают историческое воображаемое XVI века в его сложной, гибридной динамике, не пытаясь свести противоречивые фигуры истории к тем или иным «объективным» процессам развития, кажущимся «закономерными» и «необходимыми» с многовековой исторической дистанции.

Благотворительность, опередившая свое время

Если верно предположение о промежуточном – между Средневековьем и Новым временем – «сценарии власти», который изобрел для себя Генрих, то становится понятным, что и Анна хотела играть главную роль. Вопреки распространенному мнению положение женщин, особенно знатных, в Средние века не было таким уж приниженым, как порой думают, – эта точка зрения пересматривалась еще в фундаментальной «Истории частной жизни» под редакцией Жоржа Дюби³⁰.

Лично же для Анны самыми яркими примерами гораздо более свободного, чем было принято считать, поведения стали дамы из недавней эпохи войн Алой и Белой роз. Авторы книги неоднократно подчеркивают, что она во многом ориентировалась на образ предыдущей королевы, Елизаветы Йоркской – и, возможно, не только ее одной. Впрочем, Анна не собиралась действовать тайно, как королевы и знатные дамы предшествующей эпохи, влияя на своих родственников-мужчин «мягкой силой», действуя исподволь. Не исключено, что это

противоречило не только взятой ею на себя модели поведения, но и новым религиозным представлениям.

Одно из проявлений новых «сценариев власти» Анны авторы видят в ориентации на благотворительность, которая теперь не зависела от воли монарха, а должна была иметь полномасштабный государственный характер:

«Прочитав книгу Маршалла, Анна стала с энтузиазмом поддерживать его работу над законопроектом о помощи бедным... Амбициозные идеи Маршалла были нацелены на устранение проблем бедности и безработицы путем создания национальной программы развития инфраструктуры и строительства дорог, портов, общественных зданий, речных и других водных магистралей. Отвечать за реализацию программы должен был Совет по искоренению бродяжничества. Все трудоспособные граждане, занятые на работах, предусмотренных программой, помимо питания и бесплатного медицинского обслуживания, должны были получать “разумную оплату труда” за счет поступлений в казну от прогрессивного налога, которым облагались состоятельное духовенство и владельцы недвижимости. Бродяги и тунеядцы, отлынивающие от работ, подлежали аресту и привлечению к принудительному труду. Больные, немощные и нетрудоспособные должны были получать помощь из средств от налоговых поступлений и приходских пожертвований. Предполагалось, что следить за дисциплиной и наказывать бездельников и нарушителей будут специально назначенные кураторы» (с. 493).

Излишне говорить, что этот проект сильно опередил свое время и точно не принадлежал Средним векам – в отличие от его, так сказать, презентации:

«Джон Скип в своей проповеди вспомнил ветхозаветную историю о царе Артаксерксе. Если бы не Анна, он вряд ли бы решился на это... Все присутствовавшие в Королев-

30 *История частной жизни. Т. 2. Европа от феодализма до Ренессанса* / Под ред. Ж. Дюби. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

ской капелле уловили аллюзию. В проповеди Скипа Артаксеркс символизировал Генриха, Аман – Кромвеля, а добрая женщина, имя которой Скип тактично не назвал, – супруга царя Есфирь, под которой подразумевалась Анна. Оперируя понятными для всех аллегориями, Скип дал понять, что Анна хочет изменить сугубо прагматичное решение Генриха о роспуске монастырей, продиктованное исключительно целями обогащения. Аналогия с Есфирью не случайна: эту библейскую героиню в свое время выбрала королева Клод в качестве образца для подражания. Воодушевив Скипа, который решился показать Генриха в роли сбившегося с пути правителя, введенного в заблуждение злым гением в лице Кромвеля, Анна навлекла на себя гнев супруга» (с. 494–496).

Разумеется, для англичан были понятны и контекст, и его аллюзии, образующие историческое воображаемое эпохи. Среди прочего одна из аллюзий оказывается очень сильно политизированной. Если подразумевать под Артаксерксом Генриха, то «персами» окажутся англичане. Но кто тогда «евреи»? От ответа на этот вопрос зависело очень многое. При том, что и Анна, и Томас Кромвель оба были сторонниками английской Реформации, именно королева выступала в роли благотворительницы для новых «евреев». Эта метафора была востребованной в дальнейшем: английские пуритане также призывали строить Новый Ханаан, и велик соблазн предположить, что они знали о выступлении Джона Скипа в парламенте.

Почему же произошел сбой в столь тонко, казалось бы, рассчитанном механизме политической игры Анны? Здесь опять трудно удержаться от мысли, что мы находимся на переломе эпох. Подобная проповедь была гораздо более уместна в любой из предшествующих периодов Средневековья, когда в руках у церкви оставалось еще много власти. Генриха же возмутило не только самоуправство Анны, но и попытка вернуть английской церкви самостоятельность.

Суд

«Охота на сокола» по-новому освещает и суд над Анной Болейн. Так, авторы реконструируют первые показания Анны, которые могут быть очень интересны с точки зрения истории юриспруденции и судебной риторики: «Сама Анна сначала утверждала, что разговор имел место в “понедельник после Троицы”, потом назвала “вторник после Троицы прошлого года” (то есть 18 мая 1535 года)» (с. 514), в то время как допрос происходил в 1536 году. Получается, что не только она готова положиться на свою память годичной давности, но и люди, которые ее допрашивают – прежде всего сам Томас Кромвель, – считают ее показания заслуживающими доверия. Впрочем, опора на память оказывается не так уж и важна: реконструкция событий подчиняется заранее продуманной – в интересах короля – версии судебного следствия.

Другой крайне интересный случай квазисудебной практики связан с первыми показаниями против Анны, которые дают в том числе ее придворные дамы. Примечательна их логика: Анна нарушала приличия, причем так, что они не могли продолжать с этим мириться. Получается, что какое-то другое нарушение – к примеру, в рамках куртуазной игры – было для них вполне приемлемо. Анна же перешла некие чувствительные границы.

Главное, что связывало Анну с классическим феодальным обществом, была необходимость родить сына – наследника королевского престола. Однако и здесь ощущалась некая двойственность: положение и значение женщины неизмеримо возрастали в случае успеха этой миссии. Эта традиционная роль осталась, пожалуй, самой неизменной. Удивительно, что рождение наследника еще в течение долгого времени служило своего рода социальным лифтом для женщин. «Неудачи» Анны – преждевременные роды мертвого ребенка

и выкидыш – были здесь не трагедиями и даже не бедами, а ступенями на пути ее падения. Возможно, самой амбициозной целью Анны было изменить положение женщины: как королева, она могла проявить здесь инициативу и послужить образцом. Но именно это, увы, у нее не получилось.

* * *

Каков же теоретический итог этой очередной – очень интересно рассказанной – истории Генриха и Анны? Здесь современного читателя и исследователя поджидает любопытное открытие: Джон Гай и Джулия Фокс создали на редкость убедительный слепок исторического воображаемого.

Во-первых, это наше историческое воображаемое о Генрихе и Анне, которому авторы подыгрывают. Будем честны: сегодняшняя интерпретация дрейфует между академическими знаниями и популярными спекуляциями на тему. И как только она фиксируется в какой-то исторической репрезентации, то с гораздо большим успехом отражает историческое воображае-

мое, чем наукоподобную «историческую реальность». Не хочу быть неправильно понятым: сам сюжет о Генрихе и Анне сегодня как будто запрограммирован на выход за рамки научности – что, впрочем, не мешает существовать и строгим академическим исследованиям, которые, однако, не пользуются достойной их известностью, безусловно, к сожалению. Отдельная тема – историография всего вопроса в целом, позволяющая проследить, где и когда, под пером каких историков «высокая» история английской Реформации трансформировалась в личную – Генриха и Анны.

Во-вторых, каждый раз, когда современные авторы пытаются найти – и, конечно, находят – опережающее свое время поведение Анны (и отчасти Генриха), это тоже часть нынешних ожиданий и представлений о той эпохе: слишком велико искушение осовременить поведение прекрасной и трагической королевы, обнаружить «далековатые сближения» там, где они вряд ли были. И «Охота на сокола» – прекрасный тому пример.

Владимир Максаков